

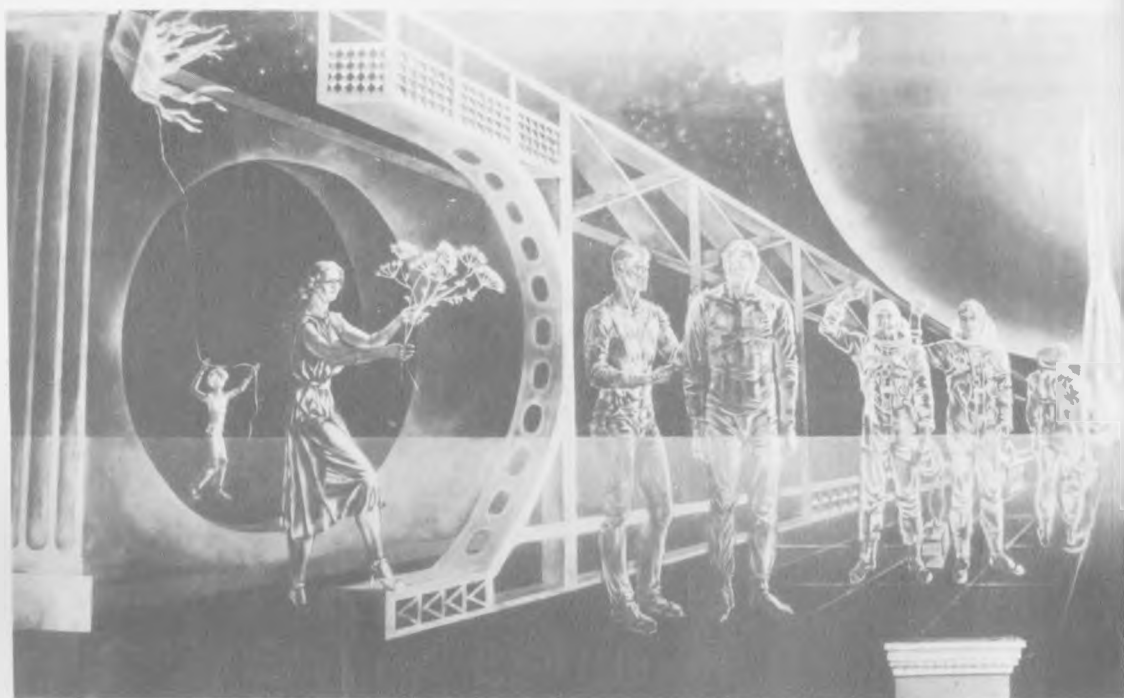
Р₂
0-38

3.1985

Июль-Сентябрь

ОГНИ
КУЗБАССА





Г. Писаревская. Фрагмент росписи стены в кинотеатре «Космос»
«Космическая эра».

Рз
0-38

№ 3 (89)

Год издания 37-й

Выходит
ежеквартально

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

В НОМЕРЕ

Составитель

Владимир **МАЗАЕВ**.

Редакционная коллегия:

Виктор **БАЯНОВ**,

Сергей **ДОНБАЙ**,

Геннадий **ЕМЕЛЬЯНОВ**,

Валерий **ЗУБАРЕВ**

(отв. секретарь),

Владимир **КУРОПАТОВ**,

Владимир **МАТВЕЕВ**,

Валентин **МАХАЛОВ**,

Зинаида **ЧИГАРЕВА**,

Геннадий **ЮРОВ**.

СТИХИ

Валентин Махалов. Дом. Сажены. «Я люблю это время...». «Опять склонилась голова...». «Мне снится...». «В другой судьбе свершилось то...». Год активного солнца. «Прямо, вкось и поперек...» 3

РЕМЕСЛО:

Игорь Агафонов. День рождения сына. Виктор Коврижных. Первый рейс. Валентин Кораблев. Печник. Александр Алферов. Рукавицы. Станция Чугунаш 6
Александр Ибрагимов. Из цикла «Горный ковчег». Валерий Ковшов. Работа. «Когда крестьянин пашет...». «Упорхнула куда-то кровать...». «Это было со мной на природе...». «Где-то здесь, вторя ветру и лесу...» 48

ПРОЗА

Геннадий Естамонов. Тулай. Повесть 8

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Александр Легчило. Тогда еще было электричество. Рассказ 51

НАШ СОВРЕМЕННИК

Евсей Цейтлин. Две встречи 57

ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА!

Петр Ворошилов. Выбор Тани Вандакуровой 64

ПАМЯТЬ СИБИРИ

Зинаида Карпенко. Начиалось так 71

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Юрий Галактионов. Испанские контрасты 73

СЛОВО — КРИТИКЕ

Александр Казаркин. Величашье Сибири 79

Серьезный разговор 83

Живое слово писателя 84

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Борис Кобзарь. Хвала телевизору. Дина Калитина. Невеста по компьютеру. Михаил Небогатов. Пародии 86

Кемеровское
книжное
издательство
1985

Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14

Рукописи
не возвращаются

Ведущий редактор
Л. В. Глебова;
художественный редактор
В. П. Кравчук;
технический редактор
Г. Н. Мамохина;
корректор
Л. В. Волковская

На 1-й стр. облож-
ки: *Г. Писаревская. «Иван-
чай», акв., тем., бум.*
На 4-й стр. облож-
ки: *Г. Писаревская. «Па-
поротник-страусник», акв.,
тем., бум.*

НАШИ АВТОРЫ

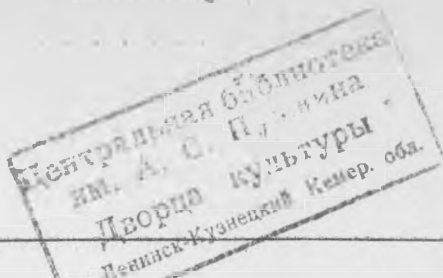
Махалов Валентин Васильевич. Родился в 1933 году в Горьком. Окончил Ленинградский университет. Автор многих поэтических книг, последняя из которых «Поздний гость» (Москва), и сборника повестей «Тихая родина». Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Ибрагимов Александр Гумирович. Родился в 1947 году в д. Спиченково Кемеровской области. Окончил Кемеровский государственный университет. Автор книг стихов: «Буквы одуванчика» и «Пусть будет каждому любовь». Живет на Алтае в д. Мульты.

Ковшов Валерий Васильевич. Родился в 1948 году в деревне Красный Ключ Кемеровской области. Автор сборника стихов «Свет внезапный». Живет в Кемерове.

Естамонов Геннадий Акепсимович. Родился в 1937 году в городе Сковородино Амурской области. Окончил Кемеровский химико-механический техникум и Казанский химико-технологический институт. Автор книги повестей «Здесь я живу». Живет в Кемерове.

Легчило Александр Леонидович. Родился в 1955 году в Кемерове. Окончил Кемеровский государственный университет. Работает заведующим лабораторией областной станции юных техников.



Сдано в набор 23.05.85. Подписано к печати 30.07.85. ОП07361. Формат 70х90. Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,44. Усл. кр.-отт. 7,31. Уч.-изд. л. 7,99. Тираж 7000 экз. Заказ № 12697. Цена 45 к. Кемеровское книжное издательство. Кемеровский полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.



ДОМ

Говорил мне отец:
— Если жить собираешься долго,
Если хочешь прожить
В мире честно, добром,
Начинай свою жизнь
С сотворенья надежного дома,
Изучи ремесло,
Овладей топором и теслом.

Я прошел у отца
Непростую мужицкую школу.
Мы построили дом
На горе,
На виду у села.
Сколько солнца играло
В окошках его развеселых,
И как счастлива мама,
И помню,
В ту пору была.

Он вознесся венцами
Под плечи покатые крыши,
Красовался затейливой
Тонкой резьбой.
Среди старых домов
Он казался
Светлее и выше.
И грешно называть его было
Крестьянской избой.

Но никто на селе
Не выказывал нам удивленья.
Будто так оно быть
И от века должно,
Вечер праздничный был
В честь его сотворенья,
И плескалось хмельное
В граненых стаканах вино.

И стоит этот дом
Нерушимо и крепко доселе.
В нем давно проживает
Не наша — другая семья.
И совсем не беда,
Что меня обошло новоселье.
Знаю, искорка счастья
Заронена там и моя.

И пока я живу
И дышу на земле ненаглядной,
И пока я в хорошем ладу
С ремеслом,
Мне иной похвалы
В этом мире не надо —
Лишь бы добрые люди
Меня поминали добром.

САЖЕНЦЫ

Мы сажали осенние яблони,
Первобытный вершили обряд,
Укрепляя их стволы слабые
На прохладном ветру поября.

Ветер песню затягивал длинную,
Пересохшей шуршал лебедой
И позвякивал тоненько льдинками
В переполненном баке с водой.

И черемуха стыла раздетая,
Прилепившись у склона горы...
И нахлынуло давнее, детское
Из далекой студенной поры.

Видно, в нас еще боли не зажили,
Хоть окрестили давно, возросли
Мы, военного времени саженцы,
Дети матери нашей земли.

А казалось — не выжить, не выстоять
От порухи, нужды и беды...
Вам шуметь еще, яблони, листьями
И давать золотые плоды.

* * *

Я люблю это время
Набухающих почек.
Дышит солнцем и ветром
Плодородная почва.
Еще голы деревья,
Но светло и пружинно
Пробивается сок
К их звенящим вершинам.
Даже в маленькой птице —
В пушистом комочке
Жизнь взрывною волною
Поет и клокочет.
А на речку взгляни:
Буйной силой играя,
Как она в эти дни
Берега распирает!
Я люблю это время
Набухающих почек.
Время новых надежд,
Время тайных пророчеств.
Как сравнимо оно
С безоглядностью юной.
Только ранней весной
Так поют его струны.

Так поют,
Что в груди
Замирает дыханье.
Так поют,
Что об этом
Не скажешь стихами.

* * *

Опять склонилась голова
Над непорочною страницей,
И лампы тихий свет струится,
И в строчки вяжутся слова.

Я слышу боль твою, душа,
Я слышу стои освобожденья,
Когда на свет стихотворенье
Родится, трепетно дыша.

И мне дано его спасти,
И, взяв горячею рукою,
Как друга верного, с собою
Навстречу людям увести.

Что суждено ему судьбой?
Какие выпадут дороги?..
Молчат таинственные боги.
И лишь восходит надо мной
Заря надежды и тревоги.

* * *

Мне снится:
Я играю роль,
А все слова перезабыты.
И кто я:
Шут или король
На сцене, сумраком повитой, —
Не знаю.
Слышу вдалеке
Поют серебряные трубы,
И что-то шепчут мои губы
На непонятном языке.
Одно я только узнаю
В прозрачном зыбком непокое —
Усмешку горькую свою,
Свое лицо немолодое.

О, как страшна моя игра!
И как глаза мои печальны.
Как будто это миг прощальный,
И сдвинуть занавес пора.

* * *

В другой судьбе свершилось то,
О чем мне грезилось годами.
Как будто я в чужом пальто
С несообразными плечами.

И вроде зависть ни к чему,
И ни к чему мне божья милость.
Но все же,
Все же почему
Со мной такого не случилось?

ГОД АКТИВНОГО СОЛНЦА

Что же ты натворило,
Светило?
И откуда в тебе эта злость?
Сколько лет
Ты нормально светило,
А теперь — разошлось!
Разошлось
В развеселости страшной
И пошло куролесить,
Пошло...
И от пляски твоей
Бесшабашной
Нашу матушку землю
Трясло.

Нам статистика
Выдала факты:
Мир стоит на военной тропе,
На земле стало больше
Инфарктов,
Преступлений
И прочих ЧП.
Для чего нам такая картина?
Пам побольше бы
Добрых вестей!
Нашу землю и так
Раскрутило
До предельных ее скоростей.
С детства ты почиталось
Прекрасным,
Украшающим наше житье.
Так пускай
Никогда не погаснет
Вера
В доброе сердце твое!

* * *

Прямо, вкось и поперек
От подножья до зенита
Прошвой авиадорог
Небо осени прошито.

Мы сомнительно правы
В том, что в этой синей бездне
Стало больше птиц железных,
Стало меньше птиц — живых.

РЕМЕСЛО

Игорь Агафонов

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЫНА

Отмечает начальник ремонта
День рождения сына,
Но его задержала работа,
На столе всё остыло.

За него отвечают: не может
Подойти к телефону,
Говорят, что придет попозже,
Неуверенным тоном.

Всё начальник ремонта сначала
Оценил терпеливо:
«Домну лечим, тянуть не пристало,
Будем пробовать взрывом».

...И в пыли неосевшей работа
Потекла с новой силой...
Отмечает начальник ремонта
День рождения сына.

г. Новокузнецк

Виктор Коврижных

ПЕРВЫЙ РЕЙС

В этот день я пришел самым первым в гараж.
Всю машину протер, а потом — еще раз...

А когда я исправным из ворот выезжал,
Мне механик на равных рукой помахал.

Еду сам! Наконец-то, ура! Еду сам!
Из груди моей сердце рвалось к небесам!

Я старался вовсю, всех подряд обгонял,
Все девчонки, казалось, глядят на меня!

Лишь короткий привал, я — опять и опять —
Проверять самосвал и кардан шприцевать.

Всё в машине, как надо! Лишь гони
да не трусь!
Сзади кузов — порядок! А в кузове — груз!

На ходу доставал и курил «Беломор»,
На погрузку въезжал, как заправский шофер!

Был ухаб не помеха, было мчаться не лень,
Всю Россию объехать хотелось в тот день!..

А вернувшись в гараж, я свой лист путевой
Нес, чтоб видели все: я шофер с грузовой!

г. Белово

Валентин Кораблев

ПЕЧНИК

Он дело знает назубок,
Наденет свой наряд,
Возьмет он в руки мастерок,
Проложит первый ряд.
Наметит каждый уголок,
С правилом обойдет.
Потертый делом мастерок
Пускает ловко в ход.

Кирпич звенит, кирпич поет
У мастера в руке.
Как на опаре печь растет
К прорубку в потолке.
Есть у него один секрет:
Не рубит он сплеча.
Усы его впитали цвет
Огня и кирпича.

с. Крапивино

Александр Алферов

РУКАВИЦЫ

Пишет матери сын: «Потерял рукавицы,
И таких по размеру найти не могу.
Разыгрался мороз, и метелица злится,
Ходим тут, утопая в глубоком снегу.

В остальном я живу без нужды и без скуки.»
Приглашает старушку к себе...
Зябнуть стали теперь материнские руки
Даже в жаркой, уютной избе...

СТАНЦИЯ ЧУГУНАШ

Мы задание выполнить в сроки смогли,
И за нами тяжелые рельсы легли.
«Чугун — наш!» — мы скалисты

сказали местам,

«Чугунаш!» — за верстой отозвалась верста.
А потом по тайге пропыхтел паровоз
И хорошее слово повсюду понес.

г. Киселевск



Геннадий Естамонов

ТУЛАЙ

Повесть

У меня пятеро друзей, есть и еще, но они школьные, а эти все домашние. Живем мы вроде бы одной семьей, сжились, сроднились роднее родных, как кусты малины на таежной гари. Попробуй определи, какой куст от какого пошел... Нам кажется порой, что мы кровные родственники, хоть и лицами разные.

Гриша и Саша, скуластые братья, — татарина Темиргенова дети, дяди Гумира. Джек и Лондон тоже родные братья, немца Эберзона Ивана Гансовича сыновья, он их в честь своего любимого писателя назвал; пятый мой друг — Витька, Кузьминичны сын. А сама Кузьминична вроде главнокомандующая у нас. Ее голос в доме самый громкий и самый главный. Как Кузьминична сказала, так и будет. Только она иногда зря кричит, ее ведь и так везде слышно и все слушают.

Больше всех от Кузьминичны достается нашей, самой неорганизованной компании, а в компании — Витьке.

— Витька! Гаденыш, — кричит она в форточку вслед нашей ватажке, и крик ее, кажется, слышен на другом конце улицы, у самого базара, — опять связался с этими недоносками!..

Мы уже давно прошмыгнули на шахтовый двор, а Кузьминична все разоряется и шлет кары на проклятых фашистов, а заодно на бестояковую голову Витьки.

Всем нам шестерым сейчас неуютно и неудобно в нашем уютном штабе. Джек и Лондик лезут друг к другу, как опять на пеньке. Гришка с Сашкой сдвигаются и отстраняются от Витьки, как от страшилища какого.

Мы все вместе в нашем замечательном штабе, как цыплята в одной корзине, а будто отделены друг от друга невидимой, но прочной плексигласовой перегородкой, и это до тех пор продолжается, пока хмурый Витька сам не начинает ругаться на нас.

— Вы что, полоухие? — он чешет макушку, а Джек и Лондик зачем-то трогают мочки своих больших ушей. — Что, совсем уже? В штаб зачем собрались? Ханурики вы! Кузьминична выжила из ума, а они...

Витька сердито отпихивает Тулая, и тот, поджавшись, отскакивает от него, похожий сейчас на обиженного зря человека: так близко сошлись друг к другу его худые лопатки.

Он втягивает мокрыми поздрыми воздух, умащивается у самого входа и обводит нас по очереди умными несобачьими глазами: что с вами?..

— Нельзя так говорить про мать! — Я отхожу от Витьки, трогаю мягкую шерсть Тулая, он вскакивает, смотрит на улицу, словно зовет за собой, и я уже

готов покинуть штаб — такое непритягательное в эти минуты место. Уйди сейчас — и, кажется, кончится вся наша дружба.

Может, и Витька о том же думает, опустив голову. И наше недосказанное, и вид его головы в виноватом наклоне, и его прежде комапдирский вид, а сейчас какой-то сиротливый, — все это снова нас примиряет.

Джек и Лондик первыми придвигаются к Витьке, за ними Сашка с Гришкой, и даже Тулай, готовый только что выскочить во двор, проходит вперед и укладывается к ногам.

В наш штаб, который казался недавно законченной банкой, начинают проникать шахтовые звуки, а вместе с ними и голос Эльзы Эриковны.

— Джек! Лондон! Ком хэ... Шнель! Ком пах хауз!.. — голос неожиданно обрывается, и глухой продолжительный кашель настораживает нас...

Горький, вроде табачного, запах чернобыльника, стебли которого лезут в дыры нашего тайного убежища, прячась от беспощадного, будто пожар, солнца. Непрístupный, совсем окаменелый от угольной пыли шахтовый забор, похожий на крепостную стену. И мы в своем штабе — старой вагонетке. Как осажденные. Притихшие, прижатые горем, свалившись на наш общий дом, который рядом, здесь, за забором, горем, похожим на обвал в шахте, о котором рассказывал дядя Гумир.

Попискивает маневровый паровозик, откликаясь на почти милицейские свистки составителя, гулко бухают буферные тарелки вагонов, поскрипывает угольная пыль под колесами тяжелых углярок, натруженно и привычно гудит канат на блочном колесе копра, где-то звякает железо, и в этот деловитый рабочий шум все еще врывается кашель матери Джека и Лондика. Вытянутые, в копопушках лица братьев стали еще длиннее, а светло-желтые челки волос

будто враз поседели. Или их так солнечный луч, падающий сверху, побелил?..

Что может быть главным на улице? Наш дом и паша шахта. Дом наш — номер два, значит шахта — номер один, хоть и называется почему-то «Пять-семь»...

Улицу, которая начинается от дома, а дом прилип прямо к шахтовому забору, — мы изучили вдоль и поперек. Все уже знакомо. От нашего дома до продуктового магазина — одна примечательность — двенадцать громадных старых тополей. Когда-то их, видно, пилили, а потом забросили, и каждое дерево, словно радуясь воле, выкинуло вверх сразу пучок стволов. Любой из них мог бы сам по себе быть хорошим деревом. Эти тополя, наверное, самые большие в городе. По вышине еще в гораду, у ДК, хороши были деревья, но в толщине, в мощи они уступали.

На той стороне улицы, паискосок от дома, на выстрел из хорошей рогатки, почти напротив продуктового магазина, солидно возвышались три здания. Строились они капитально, из пиленых брусков, и жестью были покрыты крыши. У одного даже резьба по карнизу из завитушек шла.

Здесь была школа ФЗО, для нас место безразличное. У меня там мама уборщицей работала, а мать Темиргеновых, Роза Хабировна, русскому языку фэзу-ушников учила, да и сами они для нас представляли определенный интерес. В одинаковых бушлатах, в ватных шапках, они иногда делились с нами своими небогатыми пайками. Чаще всего со мной и Витькой, а еще чаще с Тулаем, который сопровождал нас и умел быть незаметным для взрослых, прячась за наши с Витькой фигуры.

Мы были самыми ненасытными в компании и имели привычку торчать в дверях столовой или же независимо бродить между столами, вроде бы мать мою

разыскиваем. У нас с Витькой не было часов, но мы без опозданий — Тулай начинал крутиться возле — всегда подгадывали к ужину.

Фэззушники ходили строем, мы пристраивались иногда в конце колонны и шли, не путая шаг, пока нам не надоедало или пока нас не прогонял воспитатель. Прогонял пестрого, вроде отмахиваясь лениво от назойливых мух.

— Пацаны! Шли бы вы отсюда!

Витька уже тогда мечтал стать учителем истории или географии. Я же Витьке поддакивал и даже соглашался стать учителем географии, если тот будет историком. Или наоборот. Наоборот меня еще больше устраивало, потому что географию в нашей школе вела Марья Петровна, завуч, и ее побаивались все ученики. А завучем бы я не смог. Это уж как пить дать. Вот Витька бы смог...

Улица тянулась через весь город, она вела к школе, дальше к базару, где были парикмахерская и чайная. В парикмахерской, в которой я никогда не был (меня стригла мама), стригут, бреют и дуют одеколопом. В окно все видно. А в названии чайной сомневался. И сомнения мои, как оказалось потом, были не напрасными. Там пили не чай, а водку и пиво, курили, громко разговаривали и спорили, а не беседовали тихо и чинно, как бывает за чаем. Там, наверно, не знали даже, что такое горячий морковный чай с кружинкой сахара.

Витька как-то заманил меня в чайную, и веселенький плаксивый дяденька нас угостил ливерной колбасой и холодным пивом. Колбаса с черным хлебом мне понравилась, а пиво нет. Оно хоть и похоже с виду на квас, а горькое. Витька выдул целую кружку и домой шел, громко разговаривая, махая руками, и все упрашивал меня:

— Давай ходить в чайную каждый день, Стася! Давай, а? Гришку и Сашку возьмем! Давай, а, Стася?

И не торопился с ответом.

Когда я торжественно выложил перед

мамой мой кусочек хлеба и рогульку ливерной колбасы и сказал, где взял, она схватилась за голову и заплакала.

Моя мама часто плакала. Слезы в ее глазах меня пугали больше всего на свете. Я дал слово никогда больше не ходить в чайную. Слово свое держал крепко.

...За стенкой бушевала Кузьминична. Витька ошибся, думая, что мать в дневной смене. Она шла на шахту в ночь и вот, перед тем как уйти, выбивала из Витьки его веселую говорливость и его желание ходить каждый день в чайную. Как и подобает другу, Витька мужественно молчал и не сказал, что был там со мной. Иначе бы Кузьминична и к нам влетела, и я не уверен, что мама сумела бы меня защитить.

— В кого вы такие уроды?! — кричала Кузьминична. Я представлял ее, сидящую на табуретке, крупную, крепкую, с большими шахтерскими руками с зажатым в них ремнем. — Один, не успела от подола оторвать, уже в колонию попал, — это она о старшем сыне. — Другой за сиську держится одной рукой, а второй тянется уже за рюмкой. Говори, паскуда, что пил?

Голоса Витьки не слышно, но зато Кузьминична взрывается с новой силой: «Ах, ты только пиво пил! Вот тебе за пиво! Убью! Убью своими руками, чем второго тюремщика растить!...».

Я сижу, прижавшись к матери, боясь пошевелинуться, глубоко вздохнуть. Я почти задыхаюсь. Мне жалко Витьку, жалко Кузьминичну, себя, маму, заходящуюся в кашле Эльзу Эриковну и даже притихшего под столом Тулая, который, положив красивую морду свою на вытянутые лапы, сочувствующе, но непонимающе смотрит на меня, словно спрашивает: что вы опять такое сотворили?

Раньше, до войны еще, здесь жили Бойцовы: Кузьмич с семьей в одной половине, в другой половине — Темиргеновы, а все остальное население появилось позже.

Сначала приехали с Волги Эберзоны. Война их застала в пути. Иван Гансович с семьей вынужден был сойти на станции Судженка, так и не добравшись до заветной Бурят-Монголии, куда на сухой климат и кумыс он вез свою больную жену. На фронт его не взяли, а вот на шахту — разрешили. С той поры плотник Иван Гансович работает шахтером. Крепильщик из него получился славный, и шахтеры его уважали. А как я понял позже, заслужить уважение у шахтеров не так-то просто. Если еще учесть, какое было время, а Иван Гансович по национальности немец, только тогда можно понять, чего ему стоило заслужить уважение, погасить неприязнь. Что бы там ни говорили, а когда идет война и твой отец или дядька, или просто знакомый воюет с фашистами, а рядом — немец, одних слов о пролетарской солидарности маловато. Я и то косился вначале на Джека и Лондика, когда они говорили на своем языке. Слова: немец и горе были для меня неразделимы.

Темиргеновых уплотнили. Заделали дверь в смежную комнату. Вернее, вначале прорубил Иван Гансович дверь из комнаты в коридор, а потом уже внутреннюю законопатил, заштукатурил дяди Гумир так, будто ее не было вовсе. В эту комнату вселились Эберзоны, а еще позже мы с мамой вселились в комнату, где раньше жила Кузьминична. Не знаю, как всеялись Эберзоны, но мы с мамой, можно сказать — с радостью, если в ту пору вообще была радость где-нибудь.

Иван Гансович помогал устраиваться нам в комнате. Сначала сделал топчан, потом полку для посуды (посуда: две кружки, миска и солдатский котелок с крышкой). Он делал все по своей инициативе, быстро, споро и ловко. Когда он заканчивал что-то, мать его благодарила. Иван Гансович, улыбаясь, говорил:

— Ничего, все будет карашо! — осматривался по сторонам и принимался за новое дело. Потом в нашу комнату пришли, как в свою собственную, соседи.

Одна за другой две тетеньки. Сначала невысокая, темноголазая, темноволосая, за ней очень худая, какая-то вся прямая, с длинной белокурой косой, ростом под стать высокому Ивану Гансовичу, за ними целая орава ребятешек. Некоторые уже здесь побывали, но все вместе они показались мне опять незнакомыми.

Я держался вначале возле матери, потом незаметно для себя оказался среди ребят. То ли мать меня к ним подтолкнула, то ли сам осмелел, но скоро я носился вместе с ними из одной комнаты в другую, забыв уже, что они чужие. Так я освоился сначала с квартирами будущих друзей, а потом уже разобрался с ними: кто есть кто?

В квартире, куда меня утащили темноголазые пацаны — я догадался уже, что они братья, — мне понравилась низенькая табуретка с прогнутыми крест накрест ремнями для сиденья.

Меня усадили на нее возле низенького столика, изрезанного вдоль и поперек, будто не два брата этим занимались, а тридцать два.

— Удобно?

Я два раза качнул головой, соглашаясь, а братья сообщили разом: «Наш папа — сапожник!»

В другой квартире было так чисто, что вбежав сначала со всеми, я тут же остановился. Кругом все блестело: занавески на окнах, скатерть на столе, салфетки на подоконнике, этажерке, кухонной полке... как у нас дома перед войной. Только здесь еще была пристройка под потолком, как широкий топчак, но лишь на одной высокой ноге.

— Полезли на полати, — сказал рыжий пацан.

Полати? Да я шагу дальше не сделал. Мотнул головой — и за дверь. Пацаны за мной повалили, а в просвет двери, а может и раньше, я увидел на стене, на белой салфетке, алые розы, как пятна крови на бинтах в госпитале. Я даже вздрогнул, остановился, а пацаны наткнулись

па меня, и мы бы упали, если бы не стенка коридора.

Все засмеялись, и я хихикнул, растерянно оглядываясь по сторонам.

Розы!.. Розы!.. Розы!..

А в третьей квартире, где мы были в самом начале, уже сидел взрослый мальчик, что-то строгал, а когда мы вошли туда, он, даже не взглянув на нас, цыкнул:

— Брысь, шпана!

— Это мой брат Колька, — сказал Витька, у которого мать Кузьминична. Его имя я уже запомнил. Витька посмотрел на нас, но сообщил одному мне: — Он всегда злой, а пуще всего, когда курить не найдет.

— Дети не должны курить, — повторил я слова мамы.

Все засмеялись, но я упорно повторил:

— Не должны!

— Колька нас учил заты... — не досказал тот самый мальчик, который звал на полати, потому что другой, такой же рыжий, только повыше ростом, закрыл ему рот ладошкой, а сам продолжал:

— Врет Лондик, врет!

Лондик же сумел цапнуть ладошку зубами, и они схватились врукопашную.

Витька и два черноглазых брата растащили их.

— Всегда борются, — сказал Витька.

Эта небольшая заминка ускорила наше знакомство. Борцы, которые казались мне похожими на рыжих петушков, были не сердитыми, стояли уже друг возле друга и намерений возобновить схватку не выказывали. И я вдруг неожиданно охотно сообщил:

— У меня Дружок есть!

Но мое заявление никого не удивило, только Витька сказал:

— А мы все здесь дружки.

— Нет! У меня щенка так звать...

Засыпая, я тогда думал: «В этом доме столько ребят. Кто-то из них будет моим другом».

Мне очень хотелось иметь друга. Мой Дружок был не в счет.

Без друга на свете нельзя!..

Через несколько дней после нашего вселения в дом под вечер в квартире появилась Кузьминична, так неожиданно, как будто она раньше нас с мамой вошла в комнату, хотя в дверь нашу она постучала.

Зная Витькину маму еще только по разговорам, я побаивался уже ее голоса.

Мы жили в их комнате, значит, она наша хозяйка, а еще страшнее — «она дерет ни за что всех без разбору за уши», — как сказал Гришка полупешотом. Все ребята закачали согласно головами.

— Правда? — спросил я Витьку, потому что он улыбался.

— Ты не бойся, — успокоил Витька, — моя Кузьминична на руку тяжелая, пальцы — клещи, а зря не тронет... Иногда... Нет — никогда!

Успокоил!..

Высокая, крепкая Кузьминична сразу заполнила собой и своим голосом всю комнату, хотя остановилась посередине, между топчаном и койкой, и сказала всего-то: «Ну, здравствуйте!»

Хозяйственно осмотрела квартиру. Взгляд строгий, насмешливый и пронизывающий. Мне показалось, что она видит все даже сквозь шахтовый забор. Ее интерес к нам, к нашей комнате незначительный. Все ее внимание занято происходящим за стенами нашего дома.

А может, она сквозь землю видит. С работы приходит, а уже знает, что в доме творится.

— Вы почему, — кричит, — воды не натащали? Отцы на работе, значит вы в доме мужики. А вам бы только полотать!

— Припесли они воду, принесли, — слабо защищает Эльза Эриковна ребят, — я с маленьким ведром прогуляться ходила. Воздухом подышать.

— А без ведерка дышать нельзя?

Голос у Кузьминичны грубый, почти

мужской, когда она недовольна чем-то или сердитая. А когда говорит спокойно — хороший голос, песни бы петь!

А Кузьминична вдруг захмыкала, будто силком сдерживая смех.

— Ну барахла-то натащили соседусики! Все, что не надо, к вам снесли, Людмила Андреевна!

— Напрасно вы так, Кузьминична! — взмахнула руками мама, потом огладила старенькую скатерть на столе, одернула вышитые Эльзой Эриковной занавески и добавила: — Мы же в голую квартиру пришли, а люди, спасибо им, Кузьминична, в пояс, поделились, чем могли, даже больше... В квартире теплом повеяло.

Бедная моя мамочка даже порозовела от своих слов. Красавицей сделалась, и Кузьминична это заметила.

— Людмила Андреевна, вам в пояс надо кланяться!

— Ох, не надо, не надо об этом! — почти взмолилась моя мама.

— Надо! Надо! — снова огрубела голос Кузьминична. — Я как только узнала, кому нужна моя комната, сразу впопьятную пошла. У меня ведь двое оболтусов, а Кузьмич на войне. Сама вкалываю, не с метелкой вожусь... За смену не то что душу, мозги вытряхнет молоточек-молоток. А теперь вот хожу и радуюсь, что квартиру, за которую выцарапала бы кому угодно глаза, сама отдала. Да вам матери раненых да спасенных руки будут целовать, как икону, помните меня еще потом.

Мне правились слова Кузьминичны. Вот какая у меня мама! Простая сапитарка в госпитале, а если сама Кузьминична так говорит, значит — особенная. Да и сама Кузьминична особенная, хоть и громкоголосая, шумливая иногда слишком, но это потому, что она под землей работает.

Уходя, Кузьминична еще раз осмотрела наше жилье.

— Надо бы печь настоящую сразу ставить, а не «буржуйку». Ведь я же говорила на шахте. Придется шуметь...

Кузьминична слов на ветер не бросала.

Однажды, придя с улицы, я застал в доме такой ералаш, будто потолок у нас обвалился. Я так и подумал вначале. На полу кирпичи, глина, мусор, стружки. Все было сдвинуто в один угол и укрыто куском старого брезента. Ужас.

Кузьминична улыбалась, а дядя Гумир, Иван Гансович и еще один незнакомый дяденька деловито переговаривались. Только тут я заметил, что вместо буржуйки, как по щучьему велению, стоит настоящая кирпичная печь. Не просто стоит, а уже топится.

От просыхающих кирпичей идет тонкими струйками пар, а кажется, что печь дышит. Потрескивают дрова, светятся отверстия дверцы, а темные ее стенки начинают блеснуть с середины.

— Тянет! — говорит дядя Гумир.

— Нормально, — кивает головой незнакомый дяденька, — я боялся, что плохо пойдет. Без просушки же...

— Карашо! — словно подводит итог Иван Гансович и трясет за локоть незнакомца, у которого руки еще в глине.

В тот вечер я заснул вместе с Витькой, уткнувшись носом в его плечо.

В ногах у нас приютился Дружок.

Пять дней не было мамы дома, и я забеспокоился. Кузьминична сказала, что привезли большую партию новых раненых и у матери много работы.

— Как девочка, без мамы не можешь. Голодный, что ли?

Я не был голодным. Ел с Витькой и Колькой из одной миски. С Колькой реже. Он уже учился в пятом классе, считал себя взрослым и с нами водиться не желал. Большую часть времени проводил в кочегарке ДК, где собирались такие же, как и он, — взрослые. За это ему попадало от Кузьминичны, но он молча вырывался и убегал из дома на несколько дней. Он, наверное, спал в кочегарке.

Если Кузьминична была в шахте, нам готовила Роза Хабировна. Изредка варила суп с мясом. Мясо было такое постное, что его можно было подсаливать и есть без хлеба. Витька всегда посмеивался и дурачился, когда брал свой кусок.

— Т-пру-у! Я сказал, стой!—он держал свой кусок обеими руками так, будто натягивал вожжи.

Сашка и Гришка заливались смехом. А Роза Хабировна шлепала Витьку по затылку. Мне не нравились его шутки. Я не понимал, над чем они смеются. За столом вообще не надо ни смеяться, ни разговаривать. Папа всегда так говорил. И я все время твердил об этом своим друзьям, как попугай:

— За столом не надо разговаривать.

— Ага, — соглашался Витька, — поехали, пое-е-ехали.

На шестой день я побежал в госпиталь. До него было недалеко, если точнее, госпиталь находился в другой даже части города, не в нашей вовсе. Обе части города соединяла Новая колония, длинная улица, которая стала застраиваться домами перед войной, сближая их, но так и не сблизив совсем. Сейчас бы уже, наверное, застроился пустырь по левой стороне дороги, а так вот сиротливо, даже пугающе темнеют коробки недостроенных шлакоблочных домов. Страшное место. Недавно там нашли, говорят, убитого милиционера...

Вспомнив это, я полетел без оглядки. Во мне, кажется, завопили от ужаса все клеточки тела. И лишь ободряюще-спасительные огни госпиталя помогли мне не закричать во все горло...

Наверное, у меня был испуганный и жалкий вид, если меня тут же строгая медсестра провела в комнату главного врача Нины Степановны. Я и медсестру знал как зовут, да забыл вдруг.

Нина Степановна раздела меня, велела принести чай и галеты.

Я согрелся, пришел в себя, вспомнил,

что пришел сюда не чай глотать, и спросил:

— Где моя мама, Нина Степановна?

— Здесь твоя мама, не бойся. Она очень занята...

Нина Степановна велела подождать минутку, потрепала мою голову и вышла.

Я сидел и вспоминал, как мы жили с мамой здесь же, в госпитале, в тесной темной каморке под лестницей. Сейчас она мне представлялась родной, уютной, и мне впервые стало жалко, что мы покинули ее.

Я вместе с мамой убирал палаты. Мы приносили ведро с водой, я протирал койки и тумбочки, а мама принималась за подоконники. Но часто случалось так, что я просто ходил от одной койки к другой, а времени для уборки не было, и мама быстро заканчивала протирку, потом принималась швабрить полы. Меня огорчало, что я плохой ее помощник, а она говорила:

— Лучшего и не надо! Видишь, как больные довольны, будто мы им раны врачуем. А ты говоришь!..

Я верил маме, но... почему мы врачуем? Врачи, что ли какие?

Лежачие раненые наперебой просили меня подойти к ним: то поправить подушку, то подтянуть одеяло, то позовут, а оказывается ничего не надо. Просто постоишь рядом, и все.

Лица многих я уже забыл. Нет, они просто слились в одно, напоминающее лицо отца, с ямочкой на подбородке. И только лицо Матвея Григорьевича: с острым носом, колючим от щетины подбородком и бледным, всегда горячим лбом, запомнилось...

Матвей Григорьевич лежал в «тяжелой» палате напротив входа, и, когда я открывал дверь, он был первым, кого радовало мое появление.

— А-а... солдат... пришел!.. — говорил он, останавливаясь на каждом слове. — Ну проходи, проходи! Жду тебя сколько.

Потрогай лоб, он у меня уже не такой горячий, как вчера.

Я трогал осторожно лоб, а он прикрывал мою руку своей жесткой и тоже горячей ладонью.

Я долго стоял так возле него. Уставала спина, ноги, но я не уходил. Мне всегда казалось, что он заснул и, если я отниму руку, Матвей Григорьевич проснется. Но он не спал.

— Ладно, сын, иди! — говорил он наконец и слабо сжимал мою ладонь своей, вел ее медленно по своему лицу. Моя ладонь касалась его бровей, острого носа, потом сухих шершавых губ и наконец колючего подбородка.

Потом мне мама, не разрешала заходить в палату, уборку делала там одна, а когда разрешила, я сразу ничего не понял, хотя знал, что Матвею Григорьевичу делали операцию.

Я не верил своим глазам.

— Не смотри, сын, так, печально, — говорил Матвей Григорьевич с большим еще трудом, чем раньше, хотя голосу пытался бодрость придать, — ну, короче стал Матвей Григорьевич, наполовину короче. Главное, плечи и голова на них. Помни, сын, голова должна быть на плечах...

У Матвея Григорьевича была газовая гангрена...

Потом на этой койке лежал обожженный танкист. Весь в бинтах. Кричал он...

Мне не хотелось верить, что здесь, на родной земле, вдали от войны, среди своих вот, умирают наши бойцы. Родные стены должны были спасать их.

Спасали, но не всех...

По ночам мне стал сниться безногий Матвей Григорьевич, а просыпался я от криков обожженного танкиста, хотя и его уже не было...

Мама боялась за меня и вынуждена была искать новое место для жилья.

— Стасик, мама твоя спит. Я не стала ее будить. — Она потерла виски или просто приложила пальцы к ним, но вдруг резко отняла руки от головы и

сердито заговорила снова так, будто я собирался потревожить маму. — Ты больной уже, должен понимать... Ты должен быть мужчиной. Раненый потерял много крови, почти мальчик солдат-то. Его спасла твоя мама... Прямое переливание. Мама твоя очень слаба, ей нужен покой.

— Я больше так не буду, Ниша Степановна. Я не буду волновать маму. Вот увидите!

Она вынула из шкафчика пузатенькую, почти непечатую даже, бутылочку гематогена. Лакомство, которым она баловала меня, когда мы еще жили в госпитале.

Однако я беспокоился.

Я знал, что кровь сдают многие, сдавала ее и Кузьминична, и Роза Хабировна, но они вон какие. Кузьминична сама говорила, что из нее хоть насосом эту кровь качай. А мама худенькая, маленькая. Ее папа на руках носил вместе со мной. Где в ней крови-то братья? Ниша Степановна говорит, что она у нее редкая — четвертой группы.

Где проверить, какой группы кровь у меня?

Мама приехала на восьмой день на госпитальной полуторке. Она виновато улыбалась, а на самой лица не было. Какое-то оно маленькое сделалось, сжалось, что ли. Морщинки у глаз не разглаживаются, даже когда она перестает улыбаться.

— Мама, — сказал я строго, подавив желание броситься к ней, обнять, может, даже поцеловать, как папа, мне казалось, что в эту минуту я все смогу, — я все знаю. Мы же с тобой договаривались ничего не скрывать друг от друга.

Но она стала тискать меня, приговаривая:

— Отец не узнал бы тебя...

Я прижался к маме, к щеке ее с такой осторожностью, что она вдруг вся замерла, затаилась, затихла, и вдруг я с острой жалостью почувствовал хрупкость ее плеч, ее маленькую, но переполненную нежностью и любовью ко мне:

— Можна-а? — и не ожидая разрешения, через порог перевалил, сильно припадая на правую ногу, дядя Гумир. — Ты что же, сын называется? Мать заморозить хочешь? — Маленькие, черные, если не злые, то во всяком случае колючие глазки Темиргенова уставились на меня.

Вот бабай! Звали его, что ли? Но мне было стыдно.

— Людмила Андреевна! Уголь, дрова в стойке. Берите без спроса. Скоко надо. Мы же шахтеры! Себя углем не обеспечим? Нам тогда на свет вылазить нельзя.

Голос дяди Гумира гулкий, как порожняк, думать не дает. Вот дядька! Его придавило в шахте, покалечило, а он ее не оставил. Он даже бригадир. Низенький, покореженный, хромой, и бригадир. Бригадир ведь должен быть высоким, громадным, чтобы «лаву» мог подпереть, если она пойдет. Может, он голосом берет? А может лицом? Оно пугает, все в темно-синих точках, будто купоросом посыпано. Вроде бы сердитый, но не унывающий дядька: «Фашистов? Разобьем!.. План большой... Тяжело... Вы-ы-ытянем!» Но больше всего мне правится, как он по-татарски ругается с примесью русской брани.

Дядя Гумир помог мне затопить печь. Ушел и вернулся со свертком.

— Людмила Андреевна, смейтесь-не смейтесь... конина — самый лучший мяса! Татарин был сильный, пока лошадь хорошую имел. Лошадей не стало, и татарин не татарин. — И что-то еще добавил скороговоркой.

Дядя Гумир, показалось мне, сказал плохое о себе, потому и мама заговорила поспешно:

— Ну зачем вы так о себе, Гумир... простите, не знаю ваше отчество.

— Нет отчества, Гумир, и все, — засмеялся дядя Гумир, — отчества нет... зат ырузыи. Без роду, без племени, говорю, а по ночам думаю: конницу бы татарскую генералу Доватору, да и под зад фашистам... Нет конницы, нет татар... Родной язык забыл, совсем русча стал.

Конину вот кушаю, все-то татарского... Людмила Андреевна, христом богом прошу, — опять засмеялся, — и бог-то у меня русский... прошу: кушай конину, здорovým будешь. Крепким будешь! Кушай, а? — он неловко переступил на хромую ногу, направляясь к выходу и у самой двери произнес осуждающе:

— Совсем йорт-пигезсез!

Когда он ушел, мама покачала головой:

— Чем-то педоволен наш сосед.

— А ты, мамуля, поешь конины и похвали дядю Гумира при случае. Он и доволен будет. Вот увидишь, как он обрадуется. — И я рассказывал маме, как готовить мясо, и сам готовил его. Она слушала улыбаясь, но все мои наставления, сказала она, запомнила. Радуясь этому, я тарахтел о том, что Темиргеновы закупают на шахтовом лесозаводе весной отбракованных лошадей, пасут лето, а зимой живут припеваючи. Не знал я еще, что лошадей этих распределяют многодетным и ударникам. Очень редко. Реже всяких премий.

Мама прошла в госпитале ускоренные курсы медсестер и по-прежнему проводила там целые сутки.

...А с войны не было писем от папы. Он и ранен не был, иначе бы пошел в наш госпиталь. Я не маленький, знаю, что лазареты и госпитали сейчас во всех городах есть, но если бы папу ранили, его бы обязательно к нам привезли, в наш город. Иначе не могло быть. Значит, воюет.

Папу моего фашисты убить не смогут. Он такой храбрый. Он скорей сам любого фашистского гада убьет, пусть он хоть в сто дотов спрячется. Он гранатой как рванет!..

Только бы вот письмо прислал. Мама... мамочка... Она говорит, что папа адрес наш не знает, иначе бы давно написал: «Где дом-то наш был?»

В те редкие минуты, что мы бываем вместе, у нас разговоры все о папе. Мама припоминает вслух все подробности, снова и снова переживает каждый

день, каждый час, прожитый с ним. Она помнит, как у отца скрипели ремни, как чистил, не доверяя ей, свои сапоги, отправляясь на заставу, как он брился, ел, как смотрел на нас...

Она часто говорит: «А помнишь, Стасик?..» Я пытаюсь вспомнить то, о чем спрашивает мама, и не могу. Но я все-таки напрягаю память и вроде бы начинаю что-то припоминать, мама помогает мне, подсказывает, потом начинает сама говорить, а я лишь киваю головой. Это повторяется всегда, стоит лишь нам заговорить о папе, о том счастливом времени, когда он был с нами. Я уже сам не знаю: вспомнил ли я все, что связано с папой, или это ржало в моей голове под воздействием постоянных разговоров о нем, но я уже ясно вижу лицо, крепкую фигуру папы, я даже слышу, как скрипят ремни его новой португалии..

Щенка мне подарил дед Кузьма, сторож госпиталя. Он с первого дня больницы стал ее сторожить. С того времени прошло ого сколько! Витьке уже восемь лет, и он должен был знать деда Кузьму, коль он в больнице этой родился. Но он его почему-то не знал, и меня тем сильно удивил. Сторожа все знали в госпитале. Выздоровливающие бойцы бежали к деду просить «своего» горлодера», а врачи потому, что он днем в мертвецкой помогал. Он в ней в общем-то и жил, только его каморка была с другой стороны и вход имела с улицы.

Мертвецкая.., выздоравливающий.., гангрена.., кость цела.., будет жить.., безнадежный.., переливание крови.., перевязка.., срочно на стол.., кризис.., — сколько я новых слов узнал, живя в госпитале с мамой и лишь через много лет уяснил себе, какая между ними иногда лежит пропасть. Но и в то время я уже соображал: мертвецкая или морг — это значит: никогда, никогда, никогда.., а выздоравливающий — это все самое лучшее, что могло быть в госпитале для

врачей и раненых. Это праздник, это маленькая победа над фашистами. Гады, пришли нас убивать! Вон идет Капитан, с костылем пока, рука еще на перевязи, но шинель на нем развеивается уже, как бурка конника, который в атаку летит на врага.

Ничего, что он пока ковыляет. К деду Кузьме за самосадом можно и в таком виде, лишь бы по одной затяжке тем, кто сам не может...

Дед днем не спит, как положено ему по штату, и это все знают. Плохо, если его не видать на улице. Ни его, ни даже старой, как и он, наверное, псыпы Яи.

Сегодня все хорошо. Дед Кузьма толчется на госпитальном дворе. А рядом, словно понимая все, что творится меж людьми, радостно повизгивает Яя, пытается лизнуть его в лицо, а может он ей что-то хорошее говорит...

К нему и целит Капитан. Дед скуповат на самосад. Махру «траву эту» он и видеть не желает, а ему некоторые простаки на обмен предлагают ее. Но Капитан не из простаков, те, кто за ним в окно следит, знают, какого орла к деду подсылают.

Я, расширив глаза, слушаю, как капитан Константин Михайлович на «ястребке» фашистских стервятников гонял. Так им и надо, гадам...

— Погодь, погодь, — говорит дед Кузьма, достает свой кисет, увесистый мешочек, сыплет себе на бумажку и предлагает тому. Капитан отказывается. Дед его уговаривает, правда, не сильно. Константин Михайлович понимает это, видно, и берет у него кисет, а из него щепотку рубленного вручную, похожего на мелкую щепку табака. Дед косится, больно уж щепотка капитана велика, но молчит, так как занят своей самокруткой, а кисет в руках у того.

Дед жирно мусолит кромку газеты, и самокрутка уже торчит изо рта. Заби-

Дворца культуры

г. Ленинск-Кузнецкий Кемер. обл.

рает кисет, потряхивает им. Щепотка! Считаю, отполоснул Капитан. Такому можно верить. Ладонь — что хорошая подборка. Деда Кузьму уже к земле гнет, но старик еще не низкий, а Капитан башней возвышается, водонапорной, вроде той, что на железнодорожной станции у нас стоит. Я же меж ними как лилипутик.

— Ну, а как же тебя угораздило? — дед Кузьма всех так спрашивает и слышится в его вопросе осуждение. Он-то германскую прошел без царапины. А за спины других не прятался. За храбрость в утроба произведен, за то же и в солдатский комитет был послан, когда революция грянула...

Немец и в «тую пору» был злющ и хитер и воевать умел, но русские его всегда били. Что же теперь-то? Рассуждал дед Кузьма всегда вслух и со мной и с выздоравливающими, но вопрос этот мучил его больше других. Он ему житья не давал, особенно когда дед возвращался из мертвецкой.

Капитана вопрос смутил, но он все же отвечал бодро:

— Видишь, отец, ростом я каким вышел. Торчат ноги и локти из самолета, черт бы этих фрицев побрал, вот меня по ним и шарахнули. Но я в долгу не остался. Безголовым петухом закувыркался у меня крестопосец. Черный хвост распустил за собой...

Я было подумал, что Капитану надо бы обязательно побольше самолет найти, но дед Кузьма сказал громко и ободряюще:

— Черный хвост, говоришь. Это хорошо!.. Голова-то у тебя из самолета не торчит?.. А то... кабы...

— Нет, отец, нет! Она мне еще пригодится! — засмеялся Капитан.

Я радовался вместе с ними, что хорошо, хоть голова Капитана цела. А то ведь это опасно. Плохо очень. В голову-то...

Деда Кузьму я с первого раза не побоялся. Мы с ним даже быстро сдружались. И собака мне его нравилась, пото-

му что не лаяла на меня и не кусалась и волнистую мягкую шерсть позволяла трогать, когда я осмелился. А потом она меня даже лизала не раз шершавым языком, таким шершавым, что казалось, оцарапает мне щеку, и я не давался, но она все равно умудрялась.

Как-то я спрашиваю летом:

— Деда, а Яя где твоя. Давно я ее не видел. Соскучился немножко...

Дед Кузьма нахмурился. Я это понял по-своему. Его ведь тоже давно не видно было. Раненые прибывают в госпиталь. Много тяжелых...

— Сука-то моя старая что натворила, — сказал он вдруг зло, огорошив меня не сердитостью, а ругательным словом так, что я не посмел сказать ему, что очень плохо, если люди говорят ругательные слова. До этого случая он никогда так не говорил, а тут продолжал еще сердитее:

— Сука-то моя, двух щенков принесла. Я было обрадовался. Приплод-то зверь в хорошие времена дает. Он это чувствует. Ну, думал, погонят наши гадов. А они прут к Волге... Сталинград уже... Что ж теперь-то?

Мне на руку падает крупная капля дождя. Первая капля. Поднимаю голову. Капли колятся, блестят в его серебряной бороде, как в ветвях березы. А дед Кузьма задрал голову, трясется борода, плечи, которые он прямит, но он продолжает смотреть вверх, будто ждет ответ на свой вопрос.

Я стал колотить деда Кузьму в живот кулаками:

— Ну, что ты, деда? Вот увидишь... Немцев разгрохаем!

Я сначала не дала даже себя потрогать, задергала губой, клыки показала.

Потом ничего, не скалилась. Я припосил ей всегда что-нибудь на зуб, но я и сам не пытался больше ее беспокоить. А когда дед Кузьма взял от нее щенка, черненького, с рыжими подпалинами с боков, и дал мне его подержать, она возле меня терлась и тихо-тихо пощипывала,

будто охала. Мол, осторожней, осторожней, шаюпай. Я и сам знал, что осторожней надо.

— Де-да, — осмелился я однажды, а ты мне щеночка одного дашь?

Он посматривал на меня долго и строго. Наверное, думал, что я сам-то еще щепочек.

— Дам, — после долгого раздумья ответил дед, — только тебе трудно будет. У матери еще спроси.

— А почему, деда?

— Почему, почему... Ты видел, как я с Ней последней картофелиной делюсь?

— Я буду со своим Дружком делиться...

— Будешь... Верю, что будешь. А чем?

— Всем, всем! — убежденно сказал я деду. — Как ты не понимаешь?..

Мама мне разрешила, хоть и вздохнула тяжело.

— Тогда не надо!.. — отказался я от счастья иметь Дружка и прижался щекой к маминой маленькой ладошке.

Она не отняла ее, только другой рукой притиснула мою голову и стала гладить ее...

Хотя щенки росли возле своей матери, но один из них, тот самый черный, с рыжими подпалинами, переваливаясь на слабых ногах, шел на мой зов.

Другого дед Кузьма хотел кому-то отдать, но думал, думал и раздумал. Потом он признался мне, что рука не поднялась...

Когда я привел в новый дом высокого тонконого щенка, пацаны все визжали от восторга и тискали его, пока Дружок вдруг не зарычал тоненьким баском, показывая свой норов.

Через некоторое время Сашка стал доказывать, что если мы друзья, то и пес должен быть нашим другом.

— А чей же он?

Сашка ткнул в меня пальцем. Я пожал плечами, не понимая его.

— Чего же ты хочешь?

— Чтоб он был общим.

— Но он и так общий, — дивился я Сашкиной бестолковости.

— Придумал, — заорал вдруг Сашка так, как будто мы были за шахтовым забором, — мы будем звать его Тулаем!

— А зачем это? Дружок разве плохо?

— Тулай — значит общий, по-татарски.

— Ну, давайте... — согласился я неохотно, — только вот Дружок захочет ли?

— Я его уговорю, — протянул Сашка. Все засмеялись.

Наступила весна, и мы радовались ее приходу. Мы думали почему-то, что с зимними холодами ушли и людские горести, но война еще шла и несла еще беды в наш маленький шахтерский городок.

Стояла теплынь, и солнце звало на улицу. Закончились запятая в школе, и теперь вся наша шестерка целый день могла быть вместе.

Витька обставил Гришу и Джека. Он принес «Нохвальную грамоту», а я показывал ее всему дому. Грамота была золотом написана, а по бокам портреты Ленина и Сталина. Я держал ее так осторожно, будто она стеклянная, и завидовал Витьке, и мне радостно было одновременно. А еще мне казалось, что частица и моего труда в нее вложена, пусть не труда, но все-таки. Ведь мы с Витькой часто вместе уроки готовили. Он готовил, а я рядом сидел.

— Пойдем на улицу! — посреди дела предлагал Витька.

— А уроки все выучил? — спрашивал я.

— А-а, остались пустяки.

— Вот когда все сделаем, тогда и пойдем!

Витька смотрел на меня, поджав губы, не то презрительно, не то насмешливо качая головой: «Мол, пропащий ты человек, Стасик».

Но уроки оставался делать.

Потом темнело. Пацаны уже прибегали с улицы, с шумом заходили к Витьке. Гришка обычно не упускал случая похвастаться.

— Сегодня я за полуторкой летел до самого базара! А почему ты не пришел, Витя?

— А вот пьянка не пускала! — показывал на меня тот.

— Зарарлы кеше, — говорил Гриша и переводил тут же, — вредный ты человек, Стасик.

— За машины цепляться, Гриша, нельзя.

— Мама сказала?

— Мама, — соглашался я и почему-то краснел. По правде, я сам с удовольствием зацепился бы крючком за борт машины и полетел бы на снегурочках за ней. Но мама и вправду сказала: «Нельзя».

— Почему нельзя, когда всем можно?

— Мне будет плохо.

А разве я мог допустить, чтобы маме было плохо? Пусть лучше надо мной Гришка смеется.

Вот я и просиживал с Витькой до темноты. Правда, и он, как я заметил позже, не очень рвался на улицу. Ему нравилось учиться. А может, он не хотел быть таким же дураком, как его старший брат Колька, который вместо школы ходил в кочегарку, где «резался в карты», как сказал сам Витька. Однажды Витька спросил у меня:

— А ты чо пнем сидишь возле? Тоже учишь!

— А как?

— Я, — Витька постучал себя по груди, — я тебя научу!

Первый раз на шахтовом дворе я бывал с Лондиком и Сашкой. Они показали мне потайной лаз, предварительно взяв с меня слово, что я «никому не покажу». Потом посмотрели недоверчиво: не брешу ли, вынули здоровенный гвоздь, который свободно входил в широкую заборную плаху, отодвинули ее. По одному мы нырнули на ту сторону забора и оказались на шахте.

Они задвинули доску на место, «чтобы взрослые не шлялись», и повели меня к мастерским.

Снег только-только стоял, кругом еще стояли лужи, текли ручьи, и я больше следил за тем, чтобы не вляпаться в грязь. Интересного ничего не было. Мы прошли вдоль забора, оставив в стороне целый состав вагонеток, миновали огромные катушки канатов. Толстых и потоньше, и совсем тонких.

— Зачем это? — спросил я. — Барабаны?

— Зачем? Для шахты. — Сашка с Лондиком усмехнулись, а потом, что бы я ни спрашивал, ответ был один:

— Для шахты.

Здесь все было для шахты. Канаты на барабанах, вагонетки, толстые и тонкие прутки металла, листовое железо, машины, напоминающие чем-то ракушек — вентиляторы, трансформаторы, станки...

У меня голова кругом пошла от новых и новых слов, которых я раньше не знал, которые бойко называли Лондик с Сашкой, соревнуясь друг с другом, когда поверили, что я не притворяюсь и не разыгрываю их.

В мастерских у меня глаза разбежались. Было интересно и немного боязно, а Саша с Лондиком смело ходили у станков, здоровались с некоторыми рабочими, кивая головами, улыбались и пытались что-то говорить в этом гуле. Меня же просто заворожила серебристая стружка, которая, лезла из-под резца, будто живая. А до ума никак не доходило, что железо можно резать, строгать, как дерево...

Сашка дернул меня за рукав и крикнул в ухо:

— Кызык?

— Чо-о?

— Интересно, спрашиваю?

Спрашивает! Я такого еще никогда не видел. Сашка же, не дождавшись ответа, кричит мне снова:

— Я буду токарем!

Картошку садили все вместе, но по очереди. Сначала за город отправилась

вся папа компания во главе с дядей Гумиром. Остро отточенные четыре лопаты с новыми черенками, приготовленные заботливо Иваном Гансовичем, мы несли попеременно. Тот, кто шел пустой, заводил спор:

— Ты уже больше меня нес, отдавай лопату!

Дядя Гумир не обращал никакого внимания на нас. Хоть и прихрамывал, а шел споро и резво. Так что мы все время вприпрыжку догоняли его.

Солнце грело щедро. И все уже изрядно вспотели, приустиали, спорили меньше. Саша снял рубашку и фартуком привязал ее к поясу.

— Яхшы, — одобрил дядя Гумир, — скидывай все рубахи!

Мы мигом оголились по пояс, только Джек и Лондик замешкались. Джек сказал:

— Мы сгорим, мы же рыжие!

— Сгорите, будете черные! — засмеялся Витька и мы за ним. Даже Джек с Лондиком захмыкали.

— Смотри сам, — улыбнулся дядя Гумир, — гореть не надо. Твоя папка меня ругать будет.

Когда пришли на место, дядя Гумир проверил несколько колышков, приседая к земле, потом расставил в сторону руки и сказал:

— Бизнен кыр... Наш участок.

— Дядя Гумир, — осмелился я, — вы же говорили, что забыли родной язык.

— Булмас? Я говорил? Говорить можно, забыть нельзя. Родной язык на том свете помнить надо. Понял?

Вроде понял. Но как быть, когда у тебя два языка? Мама русская, а папа латыш. Русский-то я вроде знаю.

...Почему меня папа не учил своему языку?

Дядя Гумир не сводил все это время с меня своих быстрых черных глаз. Я вздохнул.

— Ты еще хотел что-то спросить?

— Нет... Дядя Гумир, а отчего у вас синие пятнушки на лице?

— Это в шахте. От угля... Хитрый, не то спросил.

Может я спросил бы у дяди Гумира, что хотел, но пацаны крутились возле, толкались, а когда я про «пятнушки» заговорил, загоготали...

— Давай работать!

Дядя Гумир копал один, а мы вместе-ром, меняясь друг с другом, но скоро он нас обогнал и ушел далеко вперед.

Мы сначала решили было от него не отставать и работать по-ударному, но у нас плохо получалось...

Но вот дядя Гумир вернулся к нам и стал копать рядом.

Мы приутихли, серьезнее взялись за дело, но нас хватило ненадолго.

Дядя Гумир на нас не шумел, не подгонял, иногда только покачивал головой и то не осуждающе...

После работы мы смастерили костерок, собрав кругом палки, ветки, старую ботву, — словом, все, что горело. Расселись возле и во все глаза следили за дядей Гумиром, который колдовал у костра. Пеклась картошка, и я жалел, что здесь нет мамы...

Витька узнал, что я побывал уже на шахте и ухмыльнулся:

— Да?.. Полазили по мусорным кучам, значит.

— Ты сам мусорная куча, — возмутился Сашка, — мы в токарном были, мастерские все излазили...

— То-то у тебя и сейчас вся рожа в грязи.

— Тишек авыз! Это же я печенку ел, измазался.

— Значит, у тебя самого дырявый рот. Картошку ел, а по уши в саже.

Саша стал поспешно тереть лицо, еще больше измазался, и все засмеялись.

...Когда садили картошку, с нами был Иван Гансович и Роза Хабировна. Мы слушали у костра, как она поет.

В гортанных звуках незнакомых слов — печаль. Все примолкли. Она закончила петь и смотрела куда-то вдаль. Мы не решались нарушить тишину, в ко-

торой, казалось, все еще качалась грустная мелодия.

— О чем песня? — шепотом спросил я у Гриши.

— Мать провожает сына.

— И все? А что так долго пела твоя мама?

— Спроси у нее, — отмахнулся Гриша.

Роза Хабировна то ли услышала наш шепот, то ли посчитала нужным перевести слова песни. Только она неожиданно заговорила тихо и снова невесело:

— Мать, провожая своего младшего сына, говорит: «Вот ты и стал мужчиной. Ничего теперь не страшит тебя. Ты улетаешь из родного гнезда, сокол мой. Но как бы ты далеко и высоко не залетел, не забывай свой родной аул. Здесь всегда тебя ждет одинокая старая мать. Пролетая над домом, хоть перо оброни...»

После грустной песни мы шли почти всю дорогу примолкшие. Только у дома Саша стал рассказывать, как мы были на шахте, как Стасик таращил на все глаза, и как ему, Сашке, разрешили поработать на токарном станке... Глаза-то, может, я и таращил, но когда Сашка работал на токарном станке, убейте, не видел. Это было такое хвастовство, что Витька лишь ухмылялся.

— Значит, побывали на шахте. Так-так... Шахтеры...

Витька шахту знал изнутри, и не потому, что у него там мама работала. Иван Гансович и дядя Гумир тоже шахтеры, а вот из ребят, из нашей братии, никто под землей не бывал. А Витька бывал. Как-то Кузьминична забыла дома свой «тормозок». Попробуй-ка «повкалывай» под землей двенадцать часов без еды. Конечно, с Кузьминичной поделились бы, но она могла не взять. Витька тормозок в зубы — и на шахту. Как уж там он, что говорил, но убедил, и его в клетку спустили в шахту.

— В клетке?

— Сам ты в клетку, Стасик. Клеть, понимаешь, подъемник такой.

— Вон, видишь, колеса на вышках, —

он показал на высокие, рядом стоящие строения, — копры. Когда колеса на них крутятся...

— Значит, клеть поднимают... Или опускают...

— Молодец! Как это ты допер?

— Смеешься, Витя? Ну смейся, смейся! Я сколько здесь живу?

— Ну, полез в бутылку. Идем, смена кончается.

— А зачем?

— Увидишь. Это пока секрет.

— Витя, у друзей не бывает секретов.

— Стасик, что ты такой деловой?..

Мойка — вроде бани, но она для шахтеров нужнее всякой бани. В бане что? Моются, парятся, как у нас в городской. Ни здравствуйте, ни до свидания. Разве только с банщицей. Чужие как чужие. Если и знакомые встречаются, то и тогда разговор недлинный. Несколько вопросов: «Как банька? Как дела? Как жизнь?..» Много не наговоришь. Очередь большая, размусоливаться некогда. Помыться охота всем. А в мойке шахтеры как кровные братья. Одного от другого враз не отличишь. Голова, шея, руки, ноги по колено — все черное, только зубы поблескивают да со спины — белы.

Не различишь даже, если бы и знал в лицо. Они, по-моему, друг друга-то лишь по голосу узнают. Так вот, мойка для них и баня, где можно не спеша помыться, отдохнуть, пошутить, посмеяться, и раскомандировка, где ругаются, правда, без злости, так поругивают и отругиваются словно бы нехотя за оплошки в работе, а чаще толкуют по-деловому, спокойно, нервы не рвут, с шутками, порой с солеными. О деле толкуют своим нелегком. Или обсуждают положение на фронте...

Мы, все шестеро, стояли в большой комнате. Уличную дверь, закрытую на крючок, Витька открыл проволочкой, просунул в щель и открыл. Я последним не без робости вошел. И сказал:

— Нельзя заходить туда, куда тебя не приглашают...

Витька ухмыльнулся, осмотрел меня, хотел что-то сказать, но в это время в длинном коридоре закашляли, зашаркали, заговорили... Из темпоты выдвигались люди, шагая размеренно, устало. Фигуры их были будто высечены из каменного угля.

Мне стало жутковато. Витька шепнул:

— Не дрейфь, у меня здесь все знакомые.

Его шепот показался мне зловещим. Захотелось дранануть побыстрей, и пацаны прижались к нам так плотно, словно хотели сделаться меньше и незаметнее. Витькин шепот подействовал и на них.

Шахтеры входили в раздевалку, плюхались на скамейки, вытягивали ноги, некоторые сразу же раздевались, стягивали медленно и осторожно с себя задубевшую от угля робу, и потому казалось: согни ее посильней, сломается вместе с человеком.

Они переговаривались. Кто-то погромче высказал желание покурить. Другой подхватил:

— Жаль махорки нету, а то бы выпросил у кого-нибудь бумажку, а за огоньком на террикон сбегал...

Стало веселее. И вдруг громко кто-то и страшно забасил:

— А вы, пацаны, что тут делаете?!

Вся наша кучка от неожиданности от пола оторвалась. Витька подпрыгнул вместе с нами, голос его осел:

— Дяденьки, я привел к вам моего друга, Стасика!..

— А зачем нам столько Стасиков?

— Ой, дяденька, вы что же? Стасик один, а это, — Витька стал называть всех по очереди, — Джек, Лондик, Гриша, Саша...

Шахтеры разделись, кое-кто уже зашел в соседнюю комнату, поднимались и другие.

— Ладно, пацаны, дуйте отсюда, — сказал кто-то строго.

Здесь Витька вдруг осмелел и повысил голос:

— Дуй-те-е! Да Стасик, если хотите, из-под пемца ушел. Под бомбежкой был вместе с матерью.

Витька дурак, всю «кашу» испортил. Шахтеры сразу стали серьезными, вроде озлились даже, будто им что-то неприятное напомнили, вроде в чем-то обвинили.

— Да-а-а, — протянул кто-то.

— Ну, а ты-то чей будешь?

— А я Кузьминичны сын.

Вот это веселое Витькино восклицание и разрядило обстановку.

— Кузьминичны? Нашей? Значит, ты Виталий Ильич! Ильи Кузьмича сын.

— Да-а, а это дяди Гумира Темиргенова Гришка и Сашка!

— Ну вот, оказывается, все знакомые, а теперь Стасика знаем еще.

Шахтеры засмеялись и потянулись в мойку.

— Дяденька, а мы с вами помоемся? — закричал Витька.

— Давайте!

В мойке пахло баней и было прохладно. Теплые струи душа весело прыгали по спинам шахтеров, как летний дождь, смывая с них угольную пыль. Они светлели, становились разными на лица и веселели.

Когда дяденька, который тер мне спину и которого я мочалил изо всех сил, вымылся, я его не узнал даже, сказал:

— Я думал, что вы от грязи пикогда не отмоетесь.

— Не грязь, сынок, а угольная пыль...

За лето мы излазили, изучили весь шахтовый двор. Побывали даже на лесоскладе и пилораме в самом дальнем конце его. Но чаще всего мы бывали в ремонтно-механических мастерских. В металлических стружках и опилках можно было копать целый день.

И все-таки больше всего нам нравилось играть на вагонетном кладбище. Слово плохое — «кладбище», а место хорошее. Оно, главное, находилось рядом с забором, с нашим домом.

Старые вагонетки резали автогенном, складывали в углерки и увозили на КМК.

Автогенщик, который занимался этим делом, то появлялся на два-три дня, то исчезал надолго. Сначала он не подпускал даже близко к себе. Гнал. А нас шестеро, всех не прогонишь. Мы с назойливым любопытством наблюдали за ним, за его работой. Его недружелюбие скоро сменилось простой подозрительностью, а когда он сказал однажды сердито:

— Ну, пацаны, если вы мне планги попортите или к аппарату полезете, я вам всем задницы осмолю, — он потряс зажженной горелкой с тонким острием голубого пламени.

Мы поняли, что он с нами заключает мировую. Хотя с опаской, но стали приближаться к нему. Скоро мы с ним подружились. Автогенщика, или правильной газосварщика, звали дядя Витя. Наш Витька так весь и засиял, что газосварщик его тезка. Как будто он не мог быть и дядей Стасей. Я несколько раз повторил про себя: «Дядя Стася», — как-то не звучало.

Дядя Витя, когда мы подружились, оказался добродушным хрупким старичком. Но если брезентовая куртка и штаны делали его таким большим и вроде бы неповоротливым, резак делал его всемогущим.

У дяди Вити была совершенно белая голова, белые брови и белая щетина на щеках и даже негустой пучок белых волос на носу.

Лондик спросил:

— Отчего это, дядя Витя, вы весь белый?

— Выгорел, — хитро прищурился, потом, махнув резак, сказал: — Сорок лет с огнем, сначала кочегаром на паровозе — ничего, а резак взял, белеть начал.

Мы педоверчиво смотрели на него, а дядя Витя добавил:

— Будете толкаться возле, скоро на-

чнете болеть, как я, — и обращаясь к Лондику, — вот ты уже порижел.

Мы засмеялись, а Сашка сказал серьезно:

— А я все равно буду газоавтогенщиком! Я уже знаю, как карбид загружать в вашу посудину... Там крышка, сбросил петлю, и...

Он не договорил, дядя Витя хватанул его по затылку так сердито, что Сашка чуть не ткнулся носом в землю. Мы напугались и отлетели в разные стороны, как воробьи. Никогда еще дядя Витя не был таким сердитым.

— К аппарату не подходить, — крикнул он гневно, — увижу кого, ноги выдергиваю!

Сашка потирал шею...

Мы долго после этого не приближались к газосварщику, выдерживали, как сказал Витька, характер. Он нас не звал.

Однажды в стороне от него мы облюбовали две вагонетки, они были перевернуты бортами друг к другу, образуя уютное помещение. Мы посидели немножко, еще не соображая, какая это находка для нас. Здесь было прохладно и немножко таинственно. Витька вдруг сказал:

— Здесь будет штаб.

— Точно! — подхватили мы дружно, и я удивился тому, что Витька высказал вслух наше желание. Еще больше я удивился, когда Витька сказал:

— Начальником штаба я назначаю себя.

— А я буду помощником начальника штаба, — первым подал голос Гриша.

— А я зато буду газоавтогенщиком! — заявил Саша.

— Нет, — сказал Витька голосом начальника штаба, — газоавтогенщик у нас есть — дядя Витя, ты будешь токарем, как хотел раньше.

— Нет, я буду газоавтогенщиком, и все тут! — стоял на своем Сашка.

Но Витька его больше не слушал, обратился к нам:

— А что вы молчите?

— Мы согласны, — сказали Джек и Лондик.

— Стасик, говори...

— Чо говорить, Витя?

Витька помолчал немного, вздохнул: — Тебе все надо по правилам. Ну, выбирайте кого хотите!

— Ты чо, Стасик, — зашумели пацаны.

— Ничего, я как все.

— Тогда, — сказал Витька, сразу став начальником штаба, — давайте поклянемся, что никому, особо другим пацанам, никогда не выдадим свой штаб.

И он велел нам по одному повторить за ним: «Если выдам штаб, па месте провалиться мне раз двести».

Мы кричали, а Тулай смотрел на нас, как мне показалось, насмешливо.

Потом мы стали убирать свой штаб. Скребли стенки от угля и ржавчины. Под конец Витька придумал засекретить его: пододвинуть еще несколько вагонеток. Мы надрывались, а вагонетки — ни с места. Думали, думали, что придумать, чтобы не было видно входа в наш штаб, но, ничего не придумав, пошли уныло домой. А на следующий день штаб сам засекретился. Искали его почти полдня. Многие вагонетки, как выяснилось, лежали парами и очень смахивали на наш штаб. У меня даже мелькнула мысль, что при желании все пацаны с нашей улицы могли завести себе штабы.

Наконец Витька закричал:

— Нашел!

Мы ринулись к нему. Наш штаб был явно не наш. Все заметили это, но Витька сказал:

— Это наш штаб! Третья вагонетка наверху, видите, от дождя закрывает — раз, а в стенке дырка, наблюдательный пост будет — два.

Мы снова скребли стенки, убирали уголь. Благоустранивались, но больше разговоров о засекречивании не вели. И не потому, что у нас болели спины от вчерашнего надрыва, просто мы поняли, что наш штаб никому не нужен, кроме нас.

— Джек, Лондон, ком нах хауз!

Я звал свою маму при ребятах мама, иногда мамочка, нисколько не тревожась, как к этому относятся опи. Джек и Лондик свою мать звали тоже мама, иногда по-немецки — мутэр, но чаще всего опи говорили мутти.

Голубые глаза Джека и Лондика становились такими просительными и печальными, что мы не задерживали их, и они бежали домой на зов матери.

Гриша и Саша звали свою маму мамка, голоса у обоих при этом были звонкими, называли они и по-татарски — апа, тоже звонко. Опи вообще были горластыми.

А вот Витька звал свою маму — моя Кузьминична! Только за одно это он заслуживал быть начальником штаба.

— Ну, пацаны, — говорил он, — я пошел, моя Кузьминична орет.

Мы растерянно смотрели ему вслед, но чаще бросали свои дела и плелись вслед за ним.

Когда Витька делал вид, что не слышит мать, я говорил:

— Что, оглох? Наша Кузьминична зовет!

Я так осмелел, что перестал звать ее тетей. Как все — Кузьминична, и она на это не обращала никакого внимания.

Однажды Кузьминична мыла пол в коридоре (была ее очередь) и, как всегда, громко ругалась, что много грязи понатаскали.

Сама при этом очень ровно и сильно скребла пол большим пожом, всем телом наваливаясь на него так, что половицы начинали празднично блестеть и поскрипывать, а соскобленные ошметки грязи ложились двумя ровными рядками. Потом Кузьминична огромной мешковиной возила по только что выскобленному полу, нарушая его праздничность. Но так казалось только вначале, пока она не смывала и не вытирала его. Пол желтел как яичко, а Кузьминична, если не ругалась, задумчиво глядела вниз, словно любовалась своей работой. Руки ее от-

жимали тряпку почти без усилий. Иногда в это время она смотрела прямо перед собой, и я видел ее лицо: строгое, красивое, с черными, как уголь, глазами...

Закончив мыть пол, она отжимала холстину последний раз, уже с усилием, так что вены на руках вздувались. Расстила-ла тряпку у порога, одергивала юбку, которая была подоткнута, затем открывала дверь и, опершись спиной и вытянутыми руками о косяки, стояла так некоторое время, задумчивая и молчаливая.

— Если кого поймаю с грязными ногами, — приводил меня в чувство грозный голос Кузьминичны, — оторву их. Мне все равно, кто: Витька, Стаська, Гришка. Другим неповадно будет!

— Тетя Кузьминична, зачем вы ругаетесь? — спросил я вместо того, чтобы проشمгнуть мышонком. — Лучше бы тогда совсем не мыли...

— Ах ты, щенок! — удивленно сказала Кузьминична. Она бы «вытянула» мокрой тряпкой, если бы Витька не схватил меня за руку и не затащил в свою квартиру. Еще не захлопнулась дверь за нами, а Витька уже выключил свет.

— Теперь полезли быстрее под койку, — зашептал он торопливо, — она туда не достанет.

— Не полезу, — пробурчал я, — ничего не сделал, только спросил...

— Ох, и всыплет нам сейчас моя Кузьминична. Знаешь, какая у нее рука?

Я представил, как Кузьминична положит нас мокрой тряпкой, и мне стало страшно.

Меня никто никогда еще не трогал пальцем.

Под койкой, у самой стенки, было что-то постелено. На этой мягкой подстилке мы, прижавшись друг к другу, прикорнули.

Витька мне пещнул:

— Моя Кузьминична отходчивая.

Я прижался к Витьке еще крепче, и мы незаметно заснули...

За нашим сараем у стенки приделан верстак. По утрам, когда еще было прохладно, мы усаживались на него, грелись на солнышке, переговаривались, дремали. Отсюда наполовину видна уборная, утром бежишь туда, а Витька уже свистит. Лает Тулай. Думаешь вернуться, подремать еще, но заберешься на верстак с ногами, прижмешься к теплой стенке сарая — хорошо.

— Что? — спрашиваю Витьку, а сам глажу Тулай.

— Ничо, сиди.

Так же подзывает Витька всех остальных из нашей компании. Гриша и Саша приманиваются на верстаке, подвернув под себя ноги. Делаю так же, но ноги быстро устают. Гришка с Сашкой у отца своего научились, дядя Гумир, когда валенки подшивает, всегда так сидит. Помню, первый раз увидел его сидящим на полу, немощно испугался даже, показалось, что он без ног. На сапожной табуретке он подворачивает под себя одну ногу.

Ничего, у меня отец с войны придет, тоже кое-чему научит.

Он на руках умеет стоять...

Последними появляются Джек и Лондик. Эльзу Эриковну ночами мучит кашель, поэтому они не высыпаются. Забравшись на верстак, они тут же начинают посапывать.

— Витя, за дроздинами яйцами я больше в лес не пойду... — краснею, но договариваю: — Мама сказала, что птичьи гнезда зорить пельзя. Птицы тоже хотят жить...

— Но дрозды же — съедобные птицы, — авторитетно заявляет Витька, — значит, у них можно брать яйца, как у кур.

Его слова убийственно убедительны, да и яйца, которые мы собирали в лесу, были не просто съедобны, а даже вкус-

ны, испеченные в глине. И все-таки я мямлю:

— Но мы же брали сорочьи.., скворчинные.., каких-то еще маленьких птичек...

— А ты их ел и хвалил. Говорил: вку-у-усна-а! — передразнивает Гриша.

— Больше не буду, не буду, — твержу упрямо.

...Я остаюсь на верстаке с Тулаем. Соскочить бы и побегать за пацанами, они еще вон, совсем близко, оглядываются даже, не торопятся идут.

Тулай поглядывает на меня: ну, что, мол, ты? Пацаны-то пошли. По-моему, он даже знает, куда направились наши друзья, хвостом постукивает по верстаку и наконец срывается большим махом.

— Тулай! — кричу я сердито. Последний друг покидает меня. Пес резко останавливается, поглядывая то на меня, то в сторону ребят. — На место!

Дед Кузьмич говорил, что в щенках намешана кровь легавой и дворняжки. Легавая слушает меня, а дворняжка рвется сейчас за пацанами.

— На место! — кричу я снова.

Тулай приседает и, поглядывая на меня, начинает повизгивать. Я перевожу его повизгивание на человеческий язык и мне становится еще горше.

— Дуй! Дуй! — машу я рукой, и Тулай срывается, летит за пацанами...

Даже не оглянулся пес!

Почему мамино «нельзя» почти всегда попадает на Витькино «можно»?

Солнце припекает, и я машинально стягиваю с себя майку и хлещу ею из стороны в сторону, отгоняя прилипчивую муху...

Впереди целый день. Без друзей.

— Пригорюнился, Стасик? — спрашивает с улыбкой Иван Гансович. В руках у него деревянный ящик со столярным инструментом.

— Будем немножко построгать?

Иван Гансович сходил в сарай, принес несколько досок, брусков. Положил их на

верстаке, вынул рубанок, ножовку, угольник.

— С детьми, — улыбнулся опять, — с ребятышками поссорился?

— Нет, — удивленный таким предположением, я добавил убежденно, — мы никогда не ссоримся.

— О-о! Это карашо!

Иван Гансович в свободные минуты любил «построгать», как он сам выражался, «чтобы руки не забыли работу». Он мог сделать все: стул, кресло, «камот», «шифаньер» и даже «дертыш». Пока же делал «табурет», «полочку», «скамейку». Я не мог дожидаться, когда он будет делать таинственный «дертыш». Иногда Иван Гансович пилил, строгал, выбирал отверстия стамеской, но часто, не закончив дела, уносил заготовки в сарай. Я подозревал, что он потихоньку делает «дертыш».

Иван Гансович работал, я крутился возле него, задавал без конца вопросы, он отвечал, и вдруг хлопнул себя по лбу:

— Палда! — и быстро ушел в стайку. Что-то там перебирал, перебрасывал и наконец принес две чурки. Положил на них доску, прибил ее. Получилось что-то вроде скамьи. На доске он устроил деревянный упор с вырезанным углом и сказал:

— Вас ист дас? Что такое?

Я пожал плечами. Улыбнулся, почти догадываясь, но боялся верить.

Иван Гансович вынул старый рубанок, поколдовал над ним и протянул мне.

— Давай работай!

Я тыкал своим рубанком в деревянный брусок, а он, вместо того чтобы скользить, как салазки, вгрызался в него. Я вспотел, радость потихоньку вытекала из меня, как вода из дырявой кружки. Ничего не получалось.

— Плохой рубанок? — спросил я, — старый, не строгает...

Иван Гансович, пряча улыбку, молча взял его из моих рук, и — волшебство — рубанок заработал лучше нового, с ши-

каньем отделяя стружку за стружкой. Моя старая дощечка на глазах превратилась в новый отшлифованный брусок.

— Привычка, навик, — сказал Иван Гансович.

Потом Иван Гансович долго возился со мной, пока первая стружка нерешительно, словно пугаясь, не выползла из-под язычка моего рубанка. Это было похоже на сказку. Я поверил во всемогущество Ивана Гансовича и, не сдержавшись, предложил:

— Иван Гансович, давайте делать «дертыш»!?

Он тихонько засмеялся, челка на лбу его, похожая на пучок ковыля, заколыхалась, голубые глаза заблестели, как после слез.

— Построгай, построгай, Стасик, пока... А стол... сделаем!.. Успеем еще.

Я настрогался так, что устала спина.

А когда пришли хмурые пацаны, я уже замел стружки, собрал их в ящик — на растопку и сидел на верстаке, раздумывая о том, что все-таки хорошо жить на белом свете. Вот у нас уже есть свой рубанок — висит в стойке. Иван Гансович сказал, и пилу наточит, старенькая где-то была, и стамески сделает...

Скорей бы только война кончалась, и папа приходил скорей бы...

Целую неделю, считай, дядя Витя не приходил резать свои старые вагонетки. Мы даже радовались. Так будет работать, до нашего штаба никогда не доберется.

Когда же дядя Витя появился, мы обрадовались и забыли, что сердились на него, забыли, что дали слово не подходить к нему, пока сам не позовет.

Он разматывал свои шланги и не замечал нас, выстроившихся полукругом. Мы несмело, но довольно дружно поздоровались с ним.

Дядя Витя поднял голову и, глядя куда-то мимо нас, невесело, но и несердито сказал:

— А, это вы, — долго молчал, а потом

будто спохватился, добавил вроде бы помягче, — здравствуйте, здравствуйте, ребятаки!

Зачем-то опустил щиток на лицо, а из-под него глухо попросил:

— Ох, уходите, ребятаки, уходите!

В другой раз нам бы показалось все это смешным, но сейчас мы стояли серьезные и строгие.

— Дядя Витя, — первый пришел в себя Витька. — Может, вы есть хотите? У нас картошка в мундирах осталась...

Витька неправду говорил. Картошку нам оставили на обед. Но если бы он сейчас велел кому-нибудь принести ее — принесли бы, не задумываясь. А дядя Витя после его слов, будто и вправду обессиленный от голода, медленно опустился на землю и привалился боком к вагонетке. Щиток жалобно звякнул о металл. Дядя Витя поднял его и мы увидели, что на щеке в белой щетине, лежат, как росинки в паутине, две крупные слезы.

Он вдруг разразился страшными проклятиями фашистам. Он то призывал бога, то матерился с ярой свирепостью.

Наконец он замолчал и долго сидел так с прикрытыми глазами. Молчали и мы, напуганные гневом малознакомого, но сейчас близкого нам человека. В молодых тополях, росших вдоль насыпи, громко чирикали, воробьи, посвистывал маневровый паровоз, и звякали буфера вагона...

В этот день мы долго не могли найти себе места и занятия. Только придумав и обсудив все возможные и невозможные казни Гитлеру, мы немного успокоились. И то мы разошлись по квартирам раньше обычного.

Мама была дома и очень обрадовалась, что я пришел так рано, но все же спросила:

— Не поссорился ли ты с ребятами, Стасик? Вид у тебя кислый.

— Нет, мамуля... Но у нас горе, — ляпнул я и сразу спохватился. Мама вздрогнула, лицо у нее побелело,

— Мамочка, — поспешно заговорил я, — ты не знаешь дядю Витю — газосварщика? Он здесь на шахте за забором работает. У него сына убили...

Мама села на скамейку, уткнулась лицом в ладошки. Я подошел к ней, сел рядом.

— Мамочка, — попросил я, — не надо плакать.

Все, что можно взять у лета, мы взяли. Подросли под теплыми дождями, загорели, а Джек и Лондик несколько раз облезли, и все равно не смогли стать такими же черными, как я и Витка. Но самыми черными, как галчата, стали Гриша и Саша, хотя они вроде бы на солнце были столько же времени, как и все. Витка сказал, что они по ночам загорали, потихоньку от нас...

Теперь мысли мои заняты были школой...

Еще весной Кузьминична принесла маме пиджак своего старшего сына, и они перешили этот пиджак на меня. Сначала мама взялась было шить на руках, но узнала Кузьминична, обиделась:

— Техника-то зачем, Андреевна? Иголкой ковырять, что уголек обушком добывать. — И так пристукнула машинкой, что футляр ее подскочил. — Чтобы я этих фокусов больше не видела.

Мама ни слова не сказала Кузьминичне, а когда та ушла, проговорила задумчиво:

— Недаром говорит, что она мать здесь всем. Бери, и баста! А если у меня руки прикипят к машинке?

Я решил тогда же, что с первых своих заработанных денег куплю маме швейную машинку.

Обрадовал меня и маму дядя Гумир. Он сшил мне брезентовые бурки, простеженные внутри пеньковыми очесами. Он шил их при мне, мерил на мою ногу, но я никогда бы не поверил, что для меня, таким суровым был он во время работы.

Позже, когда я подрос и узнал дядю

Гумира лучше, я понял, что суровым его делали широкие крепкие скулы да темно-синяя сыпь на лице — следы шахтового взрыва. И если говорят, что глаза зеркало души, то говорят о таких глазах, какие у дяди Гумира. А тогда они мне казались просто черными, а потому сердитыми.

Дядя Гумир сам принес обувь мне.

— Людмила Андреевна, придет время, из хрома читек сошью. Сейчас вот — чабата. Э-а, Стаське тепло будет! Извини, а?

В школу меня мама провожала сама. Она вела меня за руку. Я давно понял, что мамина рука — самая надежная. Сейчас, ощущая тепло ее, мне было покойно и хорошо вступать в новый, хоть и желанный, но все-таки незнакомый мир.

Я чинно шагал рядом с мамой и Розой Хабириной, а Саша и Лондик то забежали вперед, то плелись позади и заговорщицки шептались:

— Стась, пойдем, побежим вперед, ну их!

Эльза Эриковна хотела идти в школу с мамой и Розой Хабириной, но снова заперла.

День был как по заказу. На небе ни тучки, а солнце грело почти как летом. Теплый ветерок перебирал еще зеленые, крупные, с глянцем, листья тополей, шевелил прядку волос на виске у мамы, вздымал косынку, которую она поправляла после этого.

Я сбоку смотрел на мамин профиль, узнавая и не узнавая: высокий гладкий лоб, прямой нос, почти детский подбородок, и только мелкие морщинки у глаз и губ делали маму похожей на маму, она была еще совсем молодой, и мне хотелось иметь сейчас много-много денег, чтобы купить ей такую же, как у Розы Хабириной бархатную шапочку с вишнями. Еще я думал, что буду в школе отличником, изучу все науки, много-много иностранных языков и буду разговаривать по-немецки с Иваном

Гансовичем, по-татарски с дядей Гумиром, а с Витькой — по-французски и по-английски.

Я так живо и ясно представлял свою дальнейшую жизнь после первого класса, что порой не видел дороги, спотыкался, и мама поддерживала меня, и все-таки один раз я чуть было не упал с тротуара.

В школе мне нравилось все: и три ряда черных парт в нашем классе, и новые товарищи, и звонки на урок, и булочка со сладким чаем на большой перемене. А еще мне нравилась наша учительница, она чем-то походила на маму.

Осень стояла сухая и теплая. После августовских дождей трава освежилась, снова поднявшись в рост. На тополях поблескивали упругой зеленью крепкие листья и только редкие из них светились легкой желтизной, будто ранние седины...

А за городом, на Красной горке, куда мы ходили школой копать морковь, был праздник красок. В низине среди красных, фиолетовых, желтых, зеленых пятен черемушника, тальника, раkitника серебрилась лепточка Алчедата, а узелки омутов сверкали на солнце огнями электросварки. А дальше — прямо, вправо и влево на светло-синем фоне неба вставал, как на ладоши, наш родной шахтерский городок. Темными утесами вздымались в небо терриконы, на самом близком из них, на нашем, видна была медленно ползущая, как божья коровка, вагонетка с породой. Вот она заползла на самый верх, остановилась, будто напугавшись высоты, и поползла обратно вниз. Отсюда не было видно ни каната, тянущего вагонетку, ни блока, через который переброшен канат, ни того, как поднявшийся кузов освободил вагонетку от породы, которая с грохотом попеслась по лотку вниз. Но все было так, и нам, жившим рядом с шахтой, нетрудно было это представить.

Перед шахтовыми массивными строениями с галереями транспортеров, с

вышками подъемников, с рядами каменных мастерских, перед площадкой подъездных железнодорожных путей — зеленый островок наших могучих тополей. Зеленым флагом поднимается он среди дыма, пара и копоти.

— Я первый нашел, — кричит Сашка, — я первый наш дом нашел.

— Покажи, Саша, — прошу его.

— Вон, — тянет Саша руку, — зеленый лоскут. Это наши тополя.

— А где дом?

— Чудила! Там и дом.

— Но его же не видно?

— Обязательно глазами смотреть? Мозгами смотри... — Сашка сдерживает смех, и щеки у него раздуваются, как у хомяка. Он отступает и со смехом убегает назад в березовую рощу. Я продолжаю смотреть на город, а Сашка снова кричит: — Пошли, Стася, Анна Павловна зовет. Тиз бул! Быстрей!

Гриша и Саша, когда горячатся, часто вставляют в разговор татарские слова. Так же ведет себя их отец дядя Гумир. А Джек и Лондик не говорят по-своему, и мне стоит больших трудов узнать у них, как звучит то или иное слово по-немецки. Если бы я знал латышский... Придет отец, он меня научит...

Быстрей к ребятам. Как Саша говорил? Тиз бул? Тиз бул!

Я поворачиваюсь, бегу, и желтый занавес с рисунком ветвей, с белой опорой стволов встает мне навстречу...

Трактор тарахтит в другом конце поля, а мы грачами двигаемся по борозде, выбирая из нее розовые, красные, белые язычки моркови. С нами копается Анна Павловна, и всем по душе, что не шумит наша учительница, как в соседнем ряду, не тычет прутом «вон морковь.., там морковь.., вон.., вон..» Мы стараемся не подводить ее, и пошмыгивание да прилежное сопение выдаст наше усердие. После работы мы отдыхаем в березовой роще, и Анна Павловна рассказывает нам, что до революции здесь рабо-

чие устраивали маевки — думали-решали, как сбросить царя и всех буржуев. Потому и место зовется Красной горкой...

Как-то я принес в школьной сумке морковь. Букварь, пенал и тетрадку я засунул за пояс.

— Ешь, мамочка, вдоволь! Нам тетенька на поле разрешила. Она даже нам сказала выбирать только красную. Белая — кормовая. Она — скоту. Ну, не смотри так, — попросил я, — сумку я постираю.

Мама улынулась.

— Правильно делают, что вы на поле ходите, — сказала мама, помыв морковь, — не знаю, как, колхозу, а вам польза будет.

— Ты считаешь, мамуля, что мы морковку только едим. Зря. Смотри, — и я показал руки, — рабочие. А тетенька-бригадирша нас хвалит: «Зарбалы, зарбалы!» Значит — ударники.

— Так и говорит «зарбалы»?

— Нет. Это Саша говорит...

— Вы с Сашей не умрете от скромности, — засмеялась мама.

— Буду, мамочка, буду отличником. Вот увидишь — сказал я так, будто уверял себя, а не маму.

— Иди, Стасик, вымой хорошо свои рабочие руки, да из-под ногтей грязь убери.

— Это не грязь, мамуля, а земля.

Потом мы сидели на скамейке, шесть гавриков, и смачно уплетали мамин оладьи из моркови.

— Яхшы, — говорил Саша и отправлял в рот целый морковник.

— Ты хоть пережевывай, — толкал его в бок Гриша.

— Зачем? — удивлялся Саша, — живот сам справится.

А дядя Гумир, Роза Хабировна, мама и Эльза Эриковна пили чай и вели взрослую беседу.

С той поры вечерние чаепития стали устраивать чаще. Кузьминична велела

брать ее самовар, а если была дома, сама ставила его, собирала наших матерей, и они быстро готовили общий ужин.

Кузьминична не оставляла в покое ни дядю Гумира, ни Ивана Гансовича. Дядя Гумир был назначен «старшиной тылового обеспечения». Распотить печь — не самое главное, хотя, когда он был дома, первым делом брался за нее.

— От печи все начинается, — говорил он, осторожно опуская охапку дров, а Саша кричал:

— Балалар тое! Детский праздник! — бегал из одной квартиры в другую, и мы все новизгивали от радости.

Маленький праздник, устраиваемый взрослыми, в первую очередь был для нас. Нам было весело и уютно ужинать в большой компании, пить чай, спорить, говорить свои разговоры, слушать песни Розы Хабировны или с замиранием сердца следить, как Иван Гансович, прижав к себе маленькую черную скрипку, водил по ее струнам волосным смычком, и скрипка пела, как волшебная птичка-певунья.

Длинный, нескладный Иван Гансович был у нас «капельмейстером женского батальона». Звание присвоила Кузьминична, а после этого сказала:

— Нечего пылиться твоему инструменту! Если нас не развеселишь, то ребяташки хоть к музыке привыкнут. Совсем одичали, кроме гудков, ничего не слышат.

Иван Гансович слова Кузьминичны понял как приказ и выполнял его беспрекословно.

Кузьминична напрасно говорила, что мы одичали. У нас в школе был урок пения...

По весенней раскляксанной дороге шли военнопленные немцы. Они ступали тяжело, из-под ног летела грязь, и, кажется, эти черные комья и брызги не падали на землю, а поднимались в серое небо, как черная копоть.

Они шли колонной, по шесть в ряд, занимая почти всю ширину дороги. По бокам их охраняли двое наших бойцов с автоматами наперевес. Прохожие на тротуаре останавливались, рассматривали пленных, бросали злые или насмешливые слова, переговаривались между собой.

Пленные проходили совсем рядом, я видел их лица, обыкновенные усталые лица, какие бывают у шахтеров после смены, и это открытие неожиданно разозлило.

— Стасик, — Витька остановился напротив, — если бы тебе дали автомат, ты бы саданул по ним? — Он показал в сторону, куда ушла колонна.

— Я бы палил, пока не устал бы. Пока патроны были бы!

Помню, как они бомбили наш эшелон с ранеными и детьми. Я-то за мамину руку держался, бегать умел. А тетенька с ребеночком на руках под откос бежала...

...Мы привели свой штаб в «надлежащий» порядок: убрали зимний сор, побелили, у стен поставили две скамейки, которые Витька велел называть почему-то лежаками. А когда он объявил нам, что мы теперь не просто штабники, а «члены военного совета», мы недовольно примолкли, а Сашка заявил:

— Нас пацаны со «срединки» называют «штабниками», давайте «штабниками» и останемся? — Он осмотрел всех нас, на Витьку же хмурого не глянул. — А в военный совет я играть не хочу...

— Не хочешь, как хочешь, — оборвал его Витька.

Наконец все успокоились.

— Будем голосовать. У меня два голоса, у вас по одному, — сказал Витька.

— Нечестно будет, — сказал Саша, но на всякий случай перебрался поближе к брату.

— Витя, давай оставим, как было, —

предложил я, — или будем тимуровцами, как Кузьминична говорила.

— Вот еще! Моя Кузьминична говорила... Мы что, маленькие — тимуровцами? Лучше пусть будет, как было.

Гриша сказал:

— Пойдемте лучше к дяде Вите...

Дядя Витя с прошлого года еще больше постарел. Он и тогда-то был белым, а сейчас вдобавок еще лицо высохло и почернело, как картошка после зимы на поле. Он теперь не шумел на нас, на вопросы (их больше задавал Сашка: он еще не расхотел быть газосварщиком) дядя Витя отвечал терпеливо, обстоятельно. Мы знали теперь куда закладывают карбид, где заливается вода в бак, знали, что стоит попасть карбиду в воду, из него выделяется газ — ацетилен. Дядя Витя даже назвал нас «толковыми ребятами».

Не знал он, что эти толковые ребята еще с прошлого года самостоятельно познакомились с карбидом. Его мы собирали в известковой кашеце, которую дядя Витя вываливал из аппарата. Надо было только побыстрее выбрать его из влаги. Это уж нам объяснил Сашка, он самый первый нашел карбид.

Дядя Витя рушил старые короба вагонеток. Тонкое острое голубого пламени, рука в брезентовой верхонке, отполированный до золота медный резак, большой щиток с квадратным глазом (через него на солнце даже смотреть можно), из-под резака прорываются стружки металла, с хлопаньем падают на землю и разлетаются звездами в стороны.

Голубая струя доходит до кромки вагонетки, замирает на ней, прячется вовнутрь, кромка толстая, и нос резака приближается вплотную, словно прилипает к дыму и гари, которую сам поднимает. Вагонетка вздрагивает и с легким уханьем разваливается на две половины. Дядя Витя — бог. Он крутит барашек на резке — голубое пламя бледнеет, падает и становится обыкновенным огоньком, поднимает маску, крутит

другой барашек, и огонек, стрельнув, гаснет.

Положив рядом резак, дядя Витя достаёт кисет, газету, сложенную квадратиком, делает самокрутку и вдруг спрашивает:

— Видали, сколько пленных в город пригнали?

— Видали, — первым откликается Сашка.

Мы смотрим на дядю Витю, он не спеша прикуривает, затягивается и, выпустив дым, сообщает:

— Ничего-о, — снова долгая затяжка, — так вот я говорю, ничего самосадик, дал одному немцу, он чуть не задохнулся, со всех щелей дым пошел. Я ему говорю, видишь, от нашего самосада заскрипел, а на нас полезли. Он сообщает. «Гитлер капут», «Гитлер капут», — и все головами кивают. Соглашаются: «Я-а, я-а! Яволь!» Руки показывают: «Арбайтен, арбайтен...» Рабочие, мол, мы. «Куриные мозги, — я им говорю. — Облапошил вас Гитлер с Гельсом, как миленьких, а теперь арбайтен...» Они соглашаются: «Я-а, я-а!»

— Эх, дядя Витя!.. Они у вас сына убили, а вы...

Дядя Витя глубоко затянулся.

— Моему горю, сынок, ничего уже не поможет. А их, этих немцев, совесть будет еще казнить и миловать...

Я был не согласен с дядей Витей, а потому встал и пошел от него. Я думал, пацаны вслед пойдут, но догнал меня лишь один Витя.

— Стася, дядя Витя сказал, что они рабочие, а не буржуи...

— Рабочие? А ты заметил, как они шли? Нога в ногу. Солдаты...

— Стася, ну я-то чо? И ты прав, и дядя Витя вроде прав...

— Измепник твой дидя Витя, — ляпнул я и сразу же опомнился.

— Дядя Витя... Он добрый и старый. Он как дед нам.

— Это ты... — и захихикал противно даже самому себе.

— Что я? Говори...

— Начальник штаба...

— Ладно-о, — Витя махнул рукой и пошел в сторону от меня.

А я думал: «Ничего не ладно, если мы идем сейчас в разные стороны». Мне хотелось окликнуть Витю, но я не мог пересилить себя, хотя был не уверен в своей правоте.

С мамой пужко бы поговорить.

Меня удивила тишина и покинутость нашего дома. Наполовину в тени шахтового забора он казался скособоченным и несуразным. Темнели окна, будто без стекол, коричневые бревна стены налились чернотой гудрона, уличная дверь, в тепло всегда распахнутая настежь, была плотно закрыта. И на обветшавом трюпье обивки грелись жирные мухи...

Будто чего-то опасаясь, я прошмыгнул по коридору в свою квартиру. Пусто. А мама должна быть дома. Она же была дома, когда мы пошли на шахту.

В приоткрытую дверь протек невинный, заставивший меня оцепенеть, звук...

Звук повторился, у меня похолодело внутри, и я подумал, что умираю. Страшный был этот звук.

Кто-то плачет?

Я выскочил в коридор, рванул дверь Витькиной квартиры и увидел сначала маму, потом Кузьминичну, уронившую голову в сомкнутые петлей руки, с другого бока — всхлипывающую Розу Хабировну с большим платком в руке.

Кузьминична голову прижимает к рукам так, что стол подрагивает.

— Мама, — хочу громко, по горло выдохло, его будто пережало, получается сипло и еле слышно, — что?

Поднимает голову Роза Хабировна и платком машет в сторону двери. Я молотаю головой: «Никуда не уйду».

— Иди, Стася, на улицу, — поворачивается наконец мама.

Вдруг резко вскрипывает стол, который никогда раньше не скрипел. Кузьминична смотрит на меня, поворачивает голову к Розе Хабировне, опять смотрит

на меня, на маму, откидывается к стене и глухо говорит:

— Хватит, бабы...

На другой день Кузьминична собрала стол у себя, а нам, пацанам, сварили рисовую кашу с изюмом и велели быть в нашей квартире.

Сашка, съев свою порцию быстрее всех, сказал: «А я вкуснее еще ел!.. До войны нам мамка варила такую кашу из одного изюма. Скажи, Гриша! Ведь вкуснее!»

— Пумала. Шалтыравык, — Гриша для убедительности постучал ложкой о миску и сердито добавил: — Пустозвоп.

Сашка выпучил чернящие глаза, открыл рот и стал вертеть головой во все стороны, напоминая молодого скворчонка, высунувшегося из гнезда...

...Громко заговорили взрослые. Заспорили о чем-то. Мы забыли друг о друге, затаили дыхание. Витька быстро соскочил, услышав громкий и пронзительный сейчас голос матери, приоткрыл дверь, и голос ее ворвался в нашу комнату. Взрослые были в коридоре.

— Из-за вашей подлой нации война идет... Немцы! Слышишь, немцы моего Кузьмича убили! — Кузьминична кричала это в лицо Ивану Гансовичу. Он пыривался уйти, но она держала его обеими руками за локоть. — Твои немцы!

Лицо Ивана Гансовича было жалким и потным. По нему ходили белые и красные пятна, то резко выделяя веснушки на нем, то скрывая их. Он тихо и растерянно говорил:

— Я понимаю вас... Я понимаю...

Мама и Роза Хабировна плакали, угаривали, тянули Кузьминичну в комнату...

Витька подлетел вдруг к матери, схватил за шею и, повиснув на ней, заговорил по-взрослому, громко:

— Мама! Родная моя, пошли домой!

Кузьминична отпустила Ивана Гансовича, подняла будто маленького нашего Витьку на руки, прижала к себе, потом осмотрела всех строго, как раньше, и,

прижавшись к сыну лицом, твердо шагнула в сторону своей квартиры...

Иван Гансович, ссутулившись больше обычного, тихо говорил сам себе:

— Какой коре! Какой гресс потерь.

За дверью тяжело кашляла Эльза Эриковна.

В доме стало уныло, как в дождливую погоду на улице. Родство нарушилось.

Мама или Роза Хабировна ставили вечером чай, пили молча, редко перебрасываясь словами. Негромкие слова их действовали на нас — не было безмятежного шума и болтовни.

Ели и пили в оглядку, будто ждали кого-то, кто придет и разгонит всех. Не было за чаем Ивана Гансовича со скрипкой, а дядя Гумир, если и бывал, то не бросал замечаний своих и смешных реплик на татарском языке, а они мне особенно нравились. Саша с Гришей больше не шептались хитро и заговорщицки. Не приходила Эльза Эриковна.

Витя, наш паштаба, командир, молчал целыми днями, и мы молча следовали за ним. Он сидит на верстаке у сарая, и мы рядом, на шахту идет — мы за ним.

— Чо вы за мной таскаетесь? — спросил он как-то огорченно, — чо места мало?

Сегодня нас уже только четверо. Пятый Тулай. Умаяя псина, а ничего не понимает. Джек и Лондик не пришли утром на верстак у сарая. А Витя этого не заметил, как не заметил, что мы идем за ним на лесозавод.

— Булды! Больше я так не играю, — говорит Сашка и плюхается в ароматные, как лиственничная хвоя, опилки. — Ходим целыми днями, молчим. Вечером иду с пацанами на «средишку»... Идем...

Измученная лошаденка, с истертым до кожи крупом, с усилием тянет волоком бревно, а дойдя до нас, останавливается и фыркает облегченно. Маленький му-

жничок, идущий за ней шагах в десяти, кричит басовито:

— Брысь с дороги, шпана!.. Но! Но!

— Сам ты шпана, — огрызается до-вольпо громко Сашка, встает, независимо и уверенно треплет за холку лошадь и вдруг кричит:

— Сверчо-о-ок! Привет! Гришка, это Сверчок со «средишки».

Мужичок с закатанными по локоть рукавами, в замазученном пиджачке, какие бывають только у машинистов паровоза, серьезно рассматривает нас, делает вид, что не узнает Сашку с Гришкой.

— Я те дам «сверчок», — но Сашка тянет руку и по лицу Сверчка медленно растягивается улыбка; — а, татарва Темир-геновская, привет!..

— А чо ты тут делаешь? — наивно спрашивает Сашка.

— Чо, чо... Собакам сено даю... Не видишь?..

— Вижу, — тянет Сашка, обводит взглядом пилораму под навесом: бревна, горбыль, опилки.

— Говорили: тебя из школы исключили, — говорит Гришка.

— Кто говорил? — деловито интересуется Сверчок и, пока Гришка медлит с ответом, лезет в карман, достает кисет с махоркой, бумагу, ловко и привычно сворачивает самокрутку, закуривает. Его действия будто парализовали речь Гришки.

— То-то, — говорит Сверчок назидательно, — не будь бабой, не мети языком...

Сверчок менялся на глазах. Вот только что он был почти такой же пацан, как и мы, года на два-три постарше всего, и вот он уже взрослый совсем. Я, да и Гришка с Сашкой, робеем перед ним. Может и не робеем, но почитительность к нему у нас явная.

Сверчок умело, залихватски, выпускает изо рта колечки дыма, хоть на палец надевай, и говорит:

— Какая учеба? С того времени, — он делает затяжку и вместе с горьким

дымом вылетает глухо, — как батьку убили, уже два года здесь нашу... А чо делать-то. Мамка одна, а после меня еще трое...

И я вспомнил, что уже видел однажды Сверчка. Он приходил в школу заступаться за брата. В нашем классе учителя Сеия Сверкин — его брат.

— И у Вити отца педавно, — Сашка замолкает, он видит Витю, который неизвестно когда появился возле.

— Война... — совсем по-взрослому говорит Сверчок. Замечает Витю:

— Привет, Кузя. Иди, на ру раз дерни!

Я вижу Витьку первый раз с куревом в руках. Мне хочется сказать ему: «Витя, курить детям вредно». Но я спохватываюсь, а Витя неумело держит ногтями за самую газетку, и самокрутка неожиданно раскрывается, как гороховый стручок, а табак сыплется на землю.

— Ничего, — говорит Сверчок, — мы новую сварганим...

— Не надо, — останавливает его нерешительно Витя, — я так.

— Если хочешь, не надо, — соглашается Сверчок, — я ведь тоже не хотел сначала. Горько... но к сладкому меньше тянет. Люблю карамельки, — неожиданно закапчивает он. Краснеет. Понимает, что это не по-рабочему сказал. Перестукает с поги на ногу, а на них у него чуши.

— Ладно, пацаны, работать надо...

Уже у пилорамы он оборачивается и кричит:

— Кузя-я! Витюня, ты будь... Ты держись... как пахтер!

Витя смотрит на нас.

— Ну, чо?

— Витя, надо вместе нам... — говорю я.

— Да, — поддерживает Сашка, — как раньше.

Как-то вечером мама занималась стиркой. На печи в тазу парилось белье, я время от времени палкой поворачивал его, мне помогал Витя — давал советы,

шуровал в печи, а после вслух читал книгу урывками.

На полу, подвернув под себя ноги, мудро уставившись в шахматную доску, сидели Гриша и Саша. Они играли в пешки «с вышибалом». Рядом на четвереньках, молчаливые Джек и Лондик. Их, меня, Витю уже «вышибли», теперь Гриша и Саша сошлись между собой. Сашку никто не мог обыграть в шашки, если он внимательным был. Бывало, обыграешь его, а он кричит:

— Алдан! Давай снова!

— Ты сам алдан! Я честно!

— Ну, давай, давай!

Вторую партию обязательно проиграешь. Его обыгрывал только Гриша. Но тот часто хитрил, поэтому Сашка со своим братом был особенно внимательным...

— Ты откуда знаешь, когда переворачивать?

— Иди, иди, — говорит Витя мне, — я что, своей Кузьминичне никогда не помогаю? Хочешь знать — я заранее белые намачиваю. Кузьминична приходит — только командует.

— Да, тобой накомандуешь, — говорю я, а сам с удовольствием внюхиваюсь в парной воздух, поднимая на палке белые. — Яхшы, как говорят некоторые.

— А морозное белое еще лучше пахнет, — говорит Саша.

— Ты давай смотри на доску, — одергивает его Витя, — а то сейчас орать начнешь.

— Карак! — кричит тут же Сашка, — у меня же здесь дамка была, Гриша?

— Сам ты жулик, — огрызается неуверенно Гриша, и все смеются. Смеется Витя, зажав пальцем книгу, Джек и Лондик прыгают на четвереньках, как лягушата, смеется мама, убирая спадающие волосы тыльной стороной руки, смеется до слез и рукавом вытирает глаза.

Гриша, сдерживая ухмылку, ухватив лоб щепоткой, терзает его.

— Бер, ике, — считает Саша пешки, ему не до смеха, он в поиске истины, —

биш, алты... сигез... Вот, вот здесь дамки нет, Гриша!

Запицело, запарило. Вода из таза с белым перелилась на печь, я запоздало бросился к нему, оттянул на край.

— Мамочка, сварилось...

— Мамочка, слава богу, не сварилась, а белое... Ладно, иди веревку с Витей патины, а то засиделись, гляжу.

Синева сгустилась и отяжелевшее небо будто припало к земле. Тополя, крыши ближних и дальних домов, заборы опоясались темной каймой, которая ширилась кверху.

Четким черным треугольником приблизился к самой улице террикон. Вспыхнула первая звездочка в сиреновом небе. Потом зажгутся другие звезды в темноте, а звездочка на терриконе превратится в желтый огонек, который не сразу заметишь в звездном сиянии. Зато этот огонек светит всегда, и никакие тучи не закроют его...

— Булды! — сказал Гриша, когда мы в последний раз отжали с ним тряпку. — Пойду докладывать аксакалу.

Я встряхнул тряпку, расстелил ее и попробовал встать, опершись руками о косяк, но у меня не получилось, как у Кузьминичны; я согнулся почти вдвое, а ни туда, ни сюда.

Выглянул Витя.

— Ты чо это?

А я, как назло, выпрямиться не могу.

Он нагнулся, заглянул в лицо и, поймав мою жалкую улыбку, сказал: «А-а, а я думал с тобой плохо».

Наконец я догадался опуститься на колени и выбрался из неудачного положения.

Кузьминична стоит в дверях, как королева, и голову гордо держит.

Витя прошел по коридору, осмотрел углы и остался доволен.

— Нормально! Пошли рубать!

С тех пор как мы по очереди стали мыть полы в коридоре, Витя изредка бракует работу. Он не ругается, берет

тряпку, воду и перемыкает пол, но после этого целый день не замечает бракоделов. Сашка, он в паре с Джеком, в таком случае капючит.

— А-а, он попарошке! Специальна-а...

Витя забраковал один раз и свою с Лондиком работу. Сашка хоть и завел свое:

— А-а, он специальна-а, — по был озадачен.

..Умопомрачительно пахло картошкой в мунире. Белый дымок поднимался из чугуника на столе, за которым сидела вся наша, сейчас прилежная, компания.

Сашка то дул на струйку пара, то втягивал его, раздувая ноздри, и делал вид, что прислушивается к самому себе. Джек и Лондик чистили картошку.

— Аша? — спросил Сашка, — мочи нет.

— Успеешь, — улыбнулся Витя, доставая хлеб. Потом появилась солонка с крупной серой солью, невзрачной на вид, но очень вкусной, когда возьмешь крупинку в рот и откусишь картошку.

— Сашка, если будешь жрать соль, как сахар, я стану давать по крупинке тебе, — сказал Витя, — вчера чуть не полсолонки съел.

— Кызгану? — выняли Сашка губы.

— Да, пожалел!..

Джек сложил в миску четыре картошины, посмотрел на Витю, отсыпал соли. Тот протянул пластик хлеба.

— Э-э, ты куда? — удивился Сашка.

Лондик тронул его за локоть:

— Мутти картошки хотела...

«Беда не приходит одна», — услышал я как-то в магазине. Потом долго соображал: «С кем же она приходит?.. С фашистами!..»

Эльза Эриковна умерла в октябре. Дожди промочили землю.

Только засыпали картошку в погреб в нашем сарайчике, как заладили дожди. Еще вечером того дня дядя Гумир сказал: «Потянуло с гнилого угла». Дождя теперь жди. Ждать не пришлось, утром уже хлюпало. Будто и не было солнца,

мягких теплых дней, золотистого сентября.

Тучи затянули небо. Все посерело и замутилось. Мутные лужи копились на дорогах, мутные ручьи питали землю. Она разжижалась и раскисала. Набухли и почернели заборы, крыши домов, тротуары вдоль дороги. И даже тополя, на которых гнездились вороны, нахохлившиеся, а потому, казалось, тоже набухшие от дождя.

Черным утесом поднимался террикон с красной лампочкой на самом верху подъемника. За терриконом копились тучи и оттуда перекатывались на город.

На улицу не хотелось выходить, школа на черменах гудела, перекрывая шум дождя.

После уроков возле школы не было привычного галдежа, все сразу же разлеталось по сторонам, как вспугнутые воробьи.

Наша перазлучная шестерка тоже неслась домой. Как ни торопились, а к месту прибегали всегда мокрыми. Одежки развешивали над печью, у кого она топилась, если не хватало места, подставляли табуретки и раскладывали на них.

— А я чо скажу, — начал Гриша, подсовываясь к печке, — пашего Витю избрали председателем военного совета, ой, то есть председателем совета отряда. Ему теперь носить две шпалы на рукаве. Во-о!

— Правда, Витюля?

— Да ну его...

— Правда, правда. А мне одну шпалу. Я звеньевым буду. Джек, правда?

Джек улыбнулся и кивнул головой.

— Витя, правда, а?

— Ну, правда. Только не шпалы, а две красных полоски, пашивки.

— Нет, шпалы, — упорствовал Гриша.

— Это его избрали, — сказал Саша, — потому что он у нас начальником штаба. Да-да!

— Болтай, болтай, — оборвал его брат, — потому что пятерочник. Начальник шта-а-аба!

— Да и поэтому тоже.

— Много ты знаешь? Пятерочников только берут в председатели...

— Ох, ох, пятерочников! — возмутился Саша, — вот захочу, и меня изберут...

— Нос не дорос! Еще в пионеры вступи...

— Ну и вступаю! Чо, скажешь только пятерочников берут туда, да я, — и вдруг без всякой связи, как бывало порой с Сашей, заявил, — да я, хочешь знать, сегодня двадцать три пера выиграл «в перышки».

— А «в перышки» играть нехорошо, — вмешался я, — и ты уже говорил, что не будешь...

— И ты уже говорил «не-е-хо-ро-шо», — протянул Саша и добавил: — кат-кат-туку, Стася. Одно и то же: «нехорошо», «нехорошо», «нехорошо»... Ой, какой ты хороший, Стася! В перышки не играешь, на уроках не разговариваешь, сидишь, как акылга сай...

Не успел он докончить, как Гриша чувствительно врезал ему по затылку, а Саша не дал ему сдачи — только хмуро посмотрел на меня, будто я его стукнул.

Но я уже ни на кого не обращал внимания, услышав мамин голос, приглушенный коридором. Такой голос у нее был, когда она собиралась плакать или плакала.

— Беда одна не ходит, — сказал кто-то погромче. Да это же Роза Хабировна говорит такие пугающие слова. Во мне все замерло, даже сердце, кажется, перестало биться, как тогда...

Дверь в нашу комнату приоткрылась, на миг показалась голова Розы Хабировны, а вошла мама. Она осмотрела всех нас, потом прошла к столу, села, подперев голову руками, лицом на улицу, замерла, будто задумалась и совсем забыла, что мы в комнате.

Эльза Эриковна умерла в больнице, в той самой, в которой был еще недавно госпиталь и где работала мама.

На следующий день тоже лил дождик, но мы из школы не бежали вприпрыжку,

потому что Джек и Лондик не хотели бежать. Шли тихо и мокли под дождем.

...Мама перешла работать поближе к дому, чтобы дольше и чаще бывать со мной. Сначала хотела на шахту, но ей предложили в школу ФЗО, уборщицей. Все равно школа шахтовая, да и я не хотел, чтобы она в шахту лазила. Такая маленькая, сразу там потеряется. Лучше я пойду туда работать. Так она стала работать рядом с домом, и я был этому очень рад.

После смерти Эльзы Эриковны мама еще больше похудела и стала совсем печальной, даже какой-то боязливой. Мне ее очень было жалко, а чем ей помочь — не знал, и я стал вечерами, когда она убирала школу, прибегать к ней на работу. Делал уроки — и к маме. Она не хотела, чтобы я «торчал» там, а сама радовалась, если я приходил.

Мне и самому было интересно в школе ФЗО.

Раньше мы только изредка заглядывали сюда, чаще лишь в столовую, сейчас же я мог бродить по всей школе и думать, что через два-три годика я поступлю сюда учиться. Меня здесь будут кормить, одевать, и я перестану быть обузой для мамы. А потом еще через немного выучусь на шахтера и пойду работать, а маму можно будет оставить дома. Пусть отдыхает, она свое наработала. Я буду приносить ей свои деньги, а по пути с работы всегда брать булочку хлеба. Война кончится, и заживем мы... Я зажимивался, замирал, боясь спугнуть такие радостные мысли. А еще я представлял, как мы, шестеро друзей, крепких, сильных и веселых, шагаем по улице, измазанные углем, в шахтерских касках с лампочками, в брезентовых курточках, еще влажных от мокрого забоя, и за нами бегут пацаны и просят: дядя, включи лампочку! — и мы включаем не одну, а шесть снопов света...

— Стася! Стася! — окликает меня мама, а я не могу прийти в себя, я весь еще в той, будущей счастливой жизни. —

Что с тобой, Стася? — спрашивает, подойдя, мама, тревожно смотрит.

— Ой, да ничего, мамочка! — я чмокаю ее в щеку и бегу относить ведро с грязной водой.

Потом мы с ней убираем в другом классе. Сдвигаем столы в одну сторону, посыпая морозными опилками пол, его мыли вчера — сегодня только подметем.

Опилки отогреваются, темнеют, увлажняются, собирают пыль.

Мама сидит на стуле, привалившись к спинке, положив руки перед собой, и улыбается. Я же расхаживаю перед ней прямо по опилкам и с жаром рассказываю, как мы с пей скоро заживем. И не замечаю, что мама перестала улыбаться, построжала, и когда прохожу мимо, она ловит меня за руку и говорит:

— Стой, стой, фантазер! Какая школа?

— Ну эта, ФЗО. Я шахтером буду.

Она хмурится, но говорит спокойно и четко.

— Пока семь классов не окончишь, Стасик, никаких ФЗО.

— Ну, мамочка, — взмолился я, — это будет так долго!

— Ой, сынок, — мать грустнеет, — это будет уже завтра!..

Вечером, когда Иван Гансович был в шахте, я позвал Лондика с нами в ФЗО. Вдвоем с мамой мы убираемся быстрее и заканчиваем работу раньше. А с Лондиком и быстрее и веселее.

На улице было темно и холодно. Туман — как ватный, звездочек на терриконе не видно даже. Только прожекторы на двух копрах, как два совиных глаза, смотрели настороженно.

Лондик зябко поежился, мне даже холоднее стало, но мама взяла нас за руки, и мы окупились в темноту. Шли некоторое время почти наугад, за мамой, пока не вынырнули из холодной мглы — засветились окна школы ФЗО, а справа на магазинне лампа под скрипучей тарелкой.

Вдвоем мы делали то же, что я один.

Принесли с улицы опилок, подняли на второй этаж воду, сдвигали столы, протирали их, посыпали пол опилками. Потом, чтобы все быстрее делалось, мы с Лондиком пошли мести те классы, где были рассыпаны опилки. Я ему показывал, как щеткой подметать. Немножко поработаешь, постукаешь носочком щетки, чтобы опилки вытряслись, и снова. Тогда метется чисто. Лондик пауку эту усвоил быстро, и дела у нас пошли хорошо. Мама даже удивилась, что мы уравились так быстро Лондик сказал:

— Папа говорит, что и белье стирать научит. Он у нас все может.

Потом в награду Лондику я завел его в кабинет допризывной подготовки и показал щит. На нем была изображена русская трехлинейная винтовка образца 1896 года. Нажмешь кнопку, и загораются лампочки, показывая то затвор, то боек, то магазин, по очереди. Какая кнопка, такая и часть винтовки. Удивлялись не только мы, но и мама.

— Откуда ты знаешь все это, Стасик?

— Я гордо сказал, что это мне «Хома из проходчиков» показал:

— Какой это еще Хома?

— Да здесь в школе такой учится. Он еще сказал, что сейчас каждый пацан с закрытыми глазами должен знать винтовку..

Лондик рассказал обо всем этом пацанам. И потом мы ходили с мамой уже ватагой. Убирали, изучали винтовку, и Витя перестал упрекать меня, что опто «не ходит со своей Кузьминичной в шахту»..

Новый год принес много радостного в наш дом. Джека и меня наградили ордерами на костюмы. Совсем бесплатные ордера, а костюмы коричневые, темные, фланелевые — и новые, с иголочки. Мама была рада больше меня. Приду из школы, она говорит:

— Подожди, сынок, не снимай костюм, я посмотрю на тебя!

Посмотрит, заулыбается, засияет вся. А Кузьминичну и дядю Гумира преми-

ровали на шахте за беспримерный труд, так и написано в грамотах, отрезами на костюмы. Грамоты за труд, а отрезы уже впридачу. Сашка сказал, что грамоты из фанеры. Витя только засмеялся.

— Сам ты из фанеры, — фыркнул Гриша, — кожа настоящая.

— А внутрих?

— Такая кожа толстая, — разъяснил непонятливому брату Гриша, — бычья, наверняка, а может...

— Слоповая, — сказал Витя серьезно и убежал куда-то.

Витя, конечно, преувеличивал. А может... Грамота все же, на всю жизнь дается.

Кузьминична устроила праздник в доме.

— Новый год не встречали, так хоть сейчас отметим, — и очень жалела, что Иван Гансович был на смене.

У нас в доме как будто лето наступило раньше времени. И на улице такое яркое солнце, что на снег смотреть трудно, под крышей расти стали сосульки. Мама стрекочет машинкой, костюм праздничный дяде Гумиру шьет, на примере он тяжело отдувается, говорит:

— Легче в шахту спуститься.

Внимательно и серьезно смотрит, как мама делает пометки мелом, прихватывает, нитку откусывает, берет иголку в рот...

— Людмила Андреевна, алтын кулы — золотые руки...

— Да и у тебя руки не деревянные, — смеется мама.

— Яхшы! — довольно говорит дядя Гумир, — язык понимает, народ понимает. Стась рухи яктан бай. Говорю: душевный, яхшы сын — байлыклар.

Я не видел маминого лица, но был уверен, что она улыбается.

— Своих-то не хвалишь?

— Почему? И хвалю, и ругаю, если надо. Дети есть дети, — и неожиданно спросил у мамы, сделав щелчками глаза: — А Стаська, что, не мой? Мой!

...Я пришел из школы и увидел, что

мама какая-то не такая. Она была взволнована, но по-хорошему, а коль так, я не стал расспрашивать. Если нужно будет — сама поделится.

— Кузьминична до слез меня растрогала. Отрез свой подарила. Говорит, что никогда, сколь живем, не радовала меня. Вот, говорит, фашистов наши доканчивают, скоро победа. Сшей себе к празднику. У меня еще, говорит, довоенный костюм не надет ни разу. Берегла, думала с Кузьмичом красоваться буду.

Мама при этих словах вдруг расплакалась.

Весна была ранней, но неровной, неустойчивой и капризной, будто необъезженная «жеребушка», как сказал дядя Гумир.

В марте сияло солнце, чернел и оседал снег, словно подогреваемый снизу, блестели лужи на дорогах. Запахи горелого угля, навоза, прелого дерева, опилок смешались в один, сильный и густой запах весны.

Отошли тополя на солнце и враз будто подросли, резко выделялась зелень стволов и крупных веток, а кроны их засветились сиреневым светом, ожили от воровьев.

Черной пирамидой тянулся к солнцу террикон, вонзаясь в синее небо. Серебрилась паутинка узкоколейки, и по ней трудолюбиво поднималась вагонетка с породой, напоминая черного паука. Блестевшие наверху террикона металлические латки походили на многокрылый пропеллер, который поднял город из снега.

А в начале апреля солнце поблекло и потом вовсе спряталось. Подул жесткий ветер, посыпалась снежная крупа. Все кругом обновилось и побелело, зима, как чистоплотная хозяйка, из последних сил наводила свой порядок. Только полосы дорог да на фоне хрупкой белизны антрацитовый черноты террикон напоминали о недавнем тепле.

Зимы хватило ненадолго. Снежная крупа сменилась мокрым снегом, который незаметно перешел в мелкий дождь. Ветер стих, а когда подул снова, то принес с собой тепло. Кругом захлупало и зажурчало.

Казалось, не кончится эта мокрота, но к ночи ветер разорвал серо-синюю накипь, и в разрывах туч заблестели яркие, промытые звезды. А под утро разразилась гроза, с громом, с молнией.

Мама тоже не спала.

Ближние раскаты грома напоминали ей, наверное, разрывы немецких бомб, падающих на санитарный поезд, который увозил нас в тыл.

— Не бойся, мамуля, ведь это же гром. Он скоро затихнет. Знаешь, мамочка, меня в пионеры принимать будут. Мне учительница, Валентина Васильевна, сказала, и старшая пионервожатая тоже.

Я не заметил даже, когда сел на топчан, свесив ноги, и только прохлада остывшей комнаты будто омыла меня после глубокого сна.

Мама гладила меня по голове, прижималась теплой щекой к моей спине.

— Мамуля...

— Вот папа бы узнал...

От ее слов у меня резануло в груди и закололо в горле. Я соскочил с топчана, холодный пол прилип к моим ступням. Папа...

— Я сейчас печку растоплю, мама... Чайник поставлю...

— Оденься, Стасик! Да и рано еще, семь не гудело...

— Растоплю и загудит как раз. Окна-то уже светлые...

Я возился у печи, а мама, свернувшись калачиком, выглядывала из-под одеяла. Если я протягивал руки близко к огню, она охала, а я от сознания взрослости и собственной значимости готов был залезть в печь.

А гроза делалась все тише и тише.

Май был расцвечен. Красные флаги на домах вдоль улицы, на копрах шахты

алели, сияли на ДOME культуры, на нашей школе, а полотнище на терриконе, видимое повсюду, торжественно и величаво плыло к солнцу, а солнце огромное и радостное, как Первомай, лило на нас потоки света и тепла. Алые знамена, транспаранты, красные бумажные флажки у первоклашек, октябрятские звездочки и алый галстук у меня на груди. Из шелка, как из пламени. Смех, шум, гам, веселье, радость.

Наши ворвались уже в Берлин.

И потом были праздничные колонны и демонстрации, но такого радостного Первомая не забыть.

И Витя в красном галстуке, наш председатель совета отряда, и Джек, и Гриша, только Лондик и Саша с октябрятскими звездочками. Саша, нарушая торжественность и радость, врывается в нашу шеренгу и почти кричит мне на ухо, а ему, наверное, кажется, что шепчет:

— Дашь свой галстук поносить, Стася?

Я улыбаюсь ему и несогласно мотаю головой.

Он сдвигает брови, обиженно сверкает глазами и пыхтит сердито.

— Ну дам, дам, — обещаю неожиданно.

Мне снился необыкновенный сон. Это потом я понял, что сон, а тогда казалось, все на самом деле происходит. Наш бронепоезд грохотал немцев, я строчил из пулемета, а Витя, с двумя красными лычками на гимнастерке, командовал и стрелял из пушек. Гриша, Джек и Лондик подносили снаряды.

А мне помогал Саша, пулеметную ленту подправлял и все дергал меня за рукав, мешая метко целиться:

— Дай я постреляю, Стася!

— Отвяжись, — говорил я ему сердито, — вот ленту истреляю, тогда ты начнешь.

— Ага, — отвечал он обиженно, — тогда ты всех немцев черехлопаешь и война кончится... Дай, а?

Бронепоезд наш летел на всех парах, и немцы убегали от него в страхе.

Впереди расстилалось зеленое поле, а над ним вставало красное солнце, как красное знамя.

Кто-то кричал, и радостный голос этот летел со всех сторон:

— Людмила Андреевна, война кончилась!

Сашка же все упрямее и пастырнее тянул меня от пулемета и обидчиво твердил:

— Ну, хоть разок дай пальнуть! Война же кончилась! — и яростно затряс меня за плечи, я оглянулся, хотел ему сказать:

— На, стреляй, сколько хочешь, салютуй, — но проснулся..

Возле меня сидела мама с распущенными волосами, трясла за плечи, плакала, смеялась и сквозь смех и слезы говорила:

— Стася, Победа! Проснись, Стася! Кончилась война.

Я приподнялся, будто и не спал.

— Сынок! Победа!

— Я знаю, мамочка, — сказал я радостно.

— Откуда ты знаешь? Ты не спал?

— Нет, мамочка, я видел Победу во сне!

А на улице в один долгий и торжественный гудок слились шахтовые и паровозные гудки.

Наш дом ходил ходуном.

За два года после войны мы все так вытянулись, вымахнули вверх, будто нас освободили из-под какого-то гнета. Питаться мы стали, правда, получше, но не настолько же, чтобы расти и расти.

Мама не успевала подставлять мою одежду, а сама говорила:

— Расти, сын, расти! Я замухрышкой всю жизнь была, так хоть ты..

— Мама! — прерывал я, хмурил брови. Мне не нравилось слово « замухрышка », но на мою маму невозможно рас-

сердиться. На нее только посмотришь, и сразу все плохое уходит: плохое настроение, плохие мысли. С моей мамой вообще нельзя быть плохим. Мне даже пацаны об этом говорили, а Сашка так и заявляет:

— Пойду к Людмиле Андреевне делаться хорошим!

...Дядя Гумир по-прежнему работал в шахте, а мне казалось раньше, да и он сам говорил, что кончится война и он уйдет к своему любимому неспешному сапожничеству. Правда, на шахте стало работать сейчас полечче, прибавилось молодых мужчин, смены стали по восемь часов, но ему-то с покалеченной ногой не легче.

Все радовались, когда отменили карточную систему.

— Ну, теперь хлебушка вдоволь покушаем, — говорила радостная мама.

А Кузьминична шумела.

Вечером, когда собрались все за чаем и на большую тарелку нарезали пластами хлеб, первый, без карточек полученный, она говорила:

— Денежная реформа — это для толстосумов, чтобы легче было деньги посылать. А у кого их не было, так и не будет...

Мы молча уминали хлеб, запивая горячим сладким-пресладким чаем с настоящей заваркой.

Кузьминична всегда немножко чем-то недовольна, больше для порядка.

Хлебушек, родной наш хлебушек, первый раз, кажется, в жизни, можно съесть столько, чтобы не думать: а что же вечером? Можно есть его, а не держать под языком, будто конфетку или пряник...

У Кузьминичны были причины шуметь и спорить с дядей Гумиром. После отмены карточек в магазинах появились большущие очереди. Они вырастали с вечера, и люди в них простаивали порой целую ночь ради булки хлеба.

— Не могли оставить карточки, — сер-

дито говорила Кузьминична, — увеличили бы норму, вместо восьмисот грамм давали бы рабочим полтора-два килограмма, подняли бы нормы служащим, иждивенцам, и не было бы очередей. Кто не работает, тот с хлебом. А если на смеппе? Потом рыскать по магазинам, когда везде шаром покати.

Мы нашли выход. Разбились парами. Занимались, как положено, очередь с вечера, дежурили по два часа, а утром всей ватагой были у магазина. В любое время почти в очереди была паша пара. Люди же уходили греться (морозы допекали), приходили, ругались, искали снова очередь. А мы всего по два часа на холоде были. Правда, и они казались бесконечными, хотя мы надевали на себя все, что можно, а к обуви еще войлок подматывали для тепла.

Самое худшее случалось, когда открывали магазин. Очередь ломалась, кто сильнее, рвался вперед. Получалась давка. Дверь-то одна, узенькая, а народу-то вон сколько. Каждый поровит первым, даже если был позади.

Женщины кричали на бесстыжих, успевая и между собой поругаться, по порядку от этого не становилось больше.

Один раз на входе у меня размотался войлок, я двери проскочил, но кто-то придавил мою обмотку, и я рухнул на грязный пол.

Я перекачивался, как колобок, вскочить же не мог, люди перепрыгивали через меня, толкали, когда мне оставалось только выпрямиться, и я снова тряпичной куклой валился на пол. Я задыхался, обливался потом, страх торопил меня. Как только магазин набьется битком — раздавят, и я закричал жалобно и пронзительно. Этот крик придавал мне силы и подбросил меня к самому потолку...

На самом же деле это меня дяденька здоровенный поднял почти над собой.

— Ну, парень, — загудел он, — напугал же ты меня. Думал рухну на тебя, и хана! А ты?

— Я тоже, дяденька.

— Ну, ничего. Эй, мужики, — зарокотал он, — примите-ка этот сверток.

Но меня никто не принимал.

— Эх, люди... — проговорил дяденька тихо, он, видно, устал держать меня на весу, и вдруг как гаркнет, — мужики... — потом несколько присказок про хана турецкого, про шаха иранского и пророка Магомеда, — слушай мою команду: сдвинься вле-е-ево!

Голос, как выстрел, команда, будто взрыв, и люди шарахнулись от этого взрыва, а кто не испугался, тот по привычке выполнил ее. Он опустил меня и подтолкнул в образовавшийся проход к прилавку, а сам продавщице крикнул:

— Сестра, отпускай быстро по одной булке, на работу опоздаем. Кому надо больше, потом доберут.

Кто-то пытался возражать, кто-то потихоньку матерился, но общий одобрительный гул заглушил вскоре все. Только что обозленная толпа превратилась на глазах у меня пусть не в друзей, а все-таки в людей доброжелательных. Какими они на самом деле были в большинстве своем...

По-прежнему самым интересным и любимым местом нашего времяпрепровождения был шахтовый двор.

Можно было, развалиясь на молодом черпобыльнике с горьковато-притягивающим запахом, смотреть в небо на медленно ползущие облака, которые будто цеплялись за верхушку террикона, следить, как они сходятся и расходятся, образуя замысловатые и неожиданные очертания, то почти напоминающие силуэты знакомых людей, то невиданных зверей, каких можно увидеть лишь во сне. Стоит повернуть голову вбок, и взгляд упирается в забор, похожий скорее всего на частокол старой крепости, во всяком случае, на сооружение древнее столетнего. Такой вид придавала ему въедавшаяся годами угольная пыль. Настоящий шахтовый забор, без фантазий.

Перевернешься на живот, если спину заохолит или она занемет, и взгляд упирается в копры. Они напоминают мне почему-то перевернутые с разгона тачки. И у тачки крутится колесо, и на копре...

А движение колеса в моем сознании сливается с движением облаков.

Может, потому, что колеса на копрах, хоть и останавливаются время от времени, но их вращение все-таки вечное, как движение облаков.

Откуда ни возьмись появляется Тулай, он тычется бесцеремонно в наши лица, норовит в знак признательности лизнуть, а если спрячешь лицо в ладошки, ткнется холодной мордой в ухо, будто шепнет: жить-то как хорошо, пацаны!

Из беспомощного хилого щенка, какого я притащил еще в госпитале под лестницу, в нашу с мамой каморку, он давно превратился в крупного умного пса. Помесь не то овчарки с лайкой, не то еще какой-то крупной породы. Уши у него торчком, как у овчарки, а большой хвост калачом, как у лайки. Когда Тулай замирает, хвост его медленно раскручивается к земле, и тогда он совсем похож на овчарку. С золотисто-коричневой шерстью, с бело-черными подпалинами по бокам — настоящий красавец.

К нам Тулай относится доброжелательно, но ко всем по-разному. Витю он слушается беспрекословно. Со мной любит разговаривать, вернее, я говорю с ним, а он слушает и понимает все. Положив голову на колени Джека и закрыв глаза, он будет с ним столько, сколько тот пожелает. Любит играть с Гришей и Лондиком, но больше всего с Сашкой. Тот и сам готов возиться с ним до утомления. Играют до тех пор, пока не обессилеют, не задохнутся от возни и беготни.

По-разному Тулай относится и к взрослым. Но он хорошо знает, что мы все из одной «стаи».

...За Тулаем появляется запыхавшийся Сашка.

— Я бы давно, — оправдывается, — да меня мама Люда попросила...

— Чо болтаешь! — обрывает его Витя, — с Тулаем возился. Сам еле дышит, и тот язык на полметра высунул.

Пес, услышав свое имя, прячет язык, поднимает голову и смотрит на Витю: «В чем дело, я здесь», — можно прочитать в его взгляде, а можно и другое: ничего, мол, подобного, нисколько не запыхался, а Сашка пыхтит:

— Ничего и не, и... не задышался.

Мы смеемся все, как по команде.

Ступни наши привычно ступают на теплую углистую пыль, на коксовую гарь паровозную, оставляя следы, как формы в опоках. Мы идем на старые выработки. Они за пилорамой и левее ее. Они — самый дальний конец шахтового двора. Там, говорила Кузьминична, сейчас пробili новый ствол и породу выбрасывают не вагонеткой, а транспортерами. Порода с углем, а уголь отличный. Мы решили посмотреть, и если повезет, насобирать угля побольше. Нам нужны деньги. Точнее — мне.

Мама решила ехать в Пыталово, большую приграничную станцию на Полтавщине. Мы там жили до войны с папой. Когда образовалась Латвийская Советская Республика, отца направили туда, на родину, а мы с мамой остались в Пыталово, временно... Оттуда мама хочет ехать еще в Латвию. Говорит, что не может быть, чтобы следа от человека не осталось.

О том, что отец мой пропал без вести, мама узнала еще в сорок втором году и до конца войны молчала. Горе от меня прятала.

А я тоже хочу разыскивать отца... Деньги будут.

Мы решили насобирать угля и продать на базаре. А что? Выбирают уголь из породы и продают ведрами. Мы уже подсчитали, сколько нужно, если продавать подешевле. Не торчать же на базаре. Загнал — и обратно собирать...

Старые терриконники сгладились от

времени, превратившись в невысокие пологие холмы. Они поросли камнеломкой, полынью, чертополохом, заячьей капустой — кочерыжки вкусные, чуть кисловатые, — еще какой-то травой. А летом даже цветут мелкие гвоздики и бессмертники.

Слоисто-песчаные голые осыпи на кручах напоминают о том, что были здесь горы камней, породы. Они будто ушли в землю. Только за городом старые терриконники стоят солидными увалами.

Мы любим бывать здесь. Краина шахты, окраина города. Пусто и диковато кругом, хотя позади живой террикон с черной вытянутой словно для прыжка спиной, с постукивающей на стыках рельсов вагонеткой — будто подкованная блоха, а впереди в зелени ближних лугов и кустарников бродят коровы, овцы, и они кажутся почти неживыми, будто наляпанные пятна на зелено-синем фоне. И лишь козы, которые часто забираются сюда и любят здесь пастись, по-настоящему живые. Уставятся на тебя черными углями своих глаз, изучают внимательно, но без назойливости. Пугнешь их, они галопом несутся по круче.

Сейчас к терриконникам тянулся с шахтового двора свежий, еще желтый заплот, но мы скоро догадались — это был не забор.

Прямо из-под земли к старым терриконникам ползет, как большая гусеница, новая деревянная галерея, в которой скрыты транспортерные ленты. Скрип роликов, глухое постукивание их, доносящееся из-за стены наспех сбитых плах, сырых еще, пахнущих хвоей. Транспортеры работают, нагружены породой. Лента мягко загибается на ведущем валу, и, облегченная, будто быстрее бежит по опорным роликам, а мокрая порода падает со стуком на металлический лоток, ползет с шинелью сначала медленно, а потом, набрав скорость, похожа уже на черный поток.

В породе много угля, его можно выбирать прямо с лотка, а можно спуститься

к подножию и там его собирать, но тогда поднимать труднее.

Мы не стали туда спускаться. Заглянули в галерею, никого, пошли по ней. Цепочка желтоватых огней электрических лампочек, сближаясь, уходила куда-то в темноту, откуда веяло прохладой, таинственностью.

— А чо, пацаны, если идти дальше вниз, — сказал Сашка, останавливаясь, — можно и в забой попасть...

— Можно, — согласился Витя. — А ты забыл, зачем мы сюда пришли?

...А порода идет и идет тяжелым горбатым потоком, скрипят ролики, провисает под ней лента. И если смотреть на нее сверху, в обозначенную точками огней даль, то может показаться, что движется оттуда караван усталых верблюдов. Верблюдов в такой темени не видно, одни горбы вздымаются...

Уголь намного легче породы, но пока дотащишь два полных ведра, руки чуть не отрываются. Долго не выдюжить.

— А кто нас заставляет по два ведра таскать, — спросил Витя, — если на палке одно ведро вдвоем носить — можно до ночи работать.

Голова у Витьки все-таки!

Мама как-то утром говорит:

— Вы бы, Стасик, не бегали в шахту за углем...

И от удивления раскрыл рот, а мама продолжала:

— Кузьминична мне сказала, что работа — это хорошо, не пустая беготня все ж, плохо, что на базаре торчат.

Я отдал маме аккуратно сложенные заработанные честным трудом, как мы считали, рубли.

Мама обняла меня за плечи:

— Я, сып, с Кузьминичной поеду, — сказала она спокойно, как что-то давно решенное, но в ее голосе была грусть, о которой я тут же забыл, потому что она сказала, — Илья Кузьмич погиб под Великими Луками, а это рядом. Нам ехать почти в одно место. Кузьминична хочет поклониться мужу, прощения испросить...

— Какое еще прощение? — удивленно повернул я голову к маме.

Она покраснела, отвела взгляд, но все же сказала:

— Я только тебе говорю. Тайна не моя — Кузьминичны. Они с Иваном Гановичем хотят пожениться.

Это известие напугало меня. Как же Витя? Как Джек и Лондик, которые не забыли свою мутти?

Мама, как будто не желая слышать мои вопросы, поспешно сказала:

— Иди, Стасик, твои друзья уже за-swистелись. С углем больше не возитесь...

— Я же хотел с тобой, мама.

— Так получилось. Ты нам с Кузьминичной мешать только будешь. Ну скажи мне, разве ты не хочешь в пионерский лагерь?

— Хочу, мамочка, очень хочу!.. И с тобой хочу...

Мы пролезли в дальний, запасной ход и направились уже знакомой, нами же натоптанной тропинкой, вытягиваясь цепочкой в тех местах, где тропинка наша пролегла между старыми барабанами, вагонетками, мимо шахтового оборудования и горы старых чуней. Тропинка наша спрямлялась. Мы больше не делали бесполезных петель и заходов, если нагружен, некогда зевать по сторонам. Трудовая наша тропинка.

Деревянная галерея не гроыхала, она будто спала после долгой и трудной ночи, не замечая, что кругом все залито солнцем, легкая синева неба усеяна черными звездочками стрижей.

Мы побросали ведра у деревянной стенки и, как всегда, пошли сначала на ближний, самый высокий здесь терриконник. Потолковать или просто молча посидеть, оглядывая кустарники внизу, луга за ними и разбредшихся коров, глубокомысленно и сосредоточенно разглядывающих букашек в траве. Нам почему-то так казалось отсюда, с высоты, издали, на самом же деле, как мы не раз

убеждались, коровы только щипали траву. Им просто некогда было смотреть на букашек.

Влево, за частными домиками Свиного лога, похожими отсюда скорее на собачьи будки или поросычьи стаечки, чем на человеческое жилье, слепленные как попало, жмующиеся друг к другу, будто гnezда ласточек, поднимались кирпичные пятиэтажные здания, еще с пустыми, а потому темными глазницами окон, но уже с весело сияющим серебром шифера крышами.

Дома стали строить сразу после войны, но лишь за последний год серые квадраты фундаментов вдруг проросли корпусами высоких зданий. Мы не знали тогда еще, что в одном из таких домов поселится в отдельных квартирах все большое семейство нашего дома. Начавшиеся недавно разговоры, что рядом с теперешним нашим домом или даже на месте его будет строиться большая обогатительная фабрика, мы не принимали всерьез.

Зашуршала щебенка под ногами у Сашки и ручейком побежала вниз. Тулай вертел мордой — то с интересом наблюдая за этим движением, то следил за Сашкой: не ринется ли он вниз с криком: «Тулай, за мной!». Сашка же, оглядев просторы перед собой, сказал:

— Нынче на шесть коров больше на лугу пасется...

Больше или меньше ли, нам вообще-то все равно, но он сказал так, как будто в этом была вся цель его появления здесь. Языкастый Сашка был еще и глазастым. Он мог сказать: «Вон в той луже одиннадцать уток плавает». Мы начинали считать, спорить — оказывалось только десять, и когда мы были уже уверены, что Сашка обсчитался, он говорил лукаво:

— А вот под кустиком сидит еще одна.

На этот раз он говорит:

— Вон, смотрите, пастух сидит. Позавчера там девочка с книгой сидела.

Недоверчиво поглядываем туда, где самые храбрые кусты, оставив влажную, жирную землю карабкаются вверх. Правда, сидит человек, и нам уже начинает казаться, что позавчера там могла сидеть «девчонка с козой и книгой», которую мы не заметили, потому что нам на нее не указал Сашка.

— Там даже два человека, — приглядевшись, говорит Витя.

Точно, один человек сидит ниже другого, привалившись к нему, потому его сразу и не заметишь.

Сашка вдруг приседает на корточки и почти шепчет:

— Наши знакомые...

— Без сопливых ясно, — сердится Витя. — Ты только один с глазами, а мы?

Джек тоже напряженно всматривается, наверное, и он узнал Кузьминичну, а своего отца и подавно, но ведет себя так, будто не верит своим глазам. Он даже трет их.

— Чего уставились? — продолжает сердиться Витя. — Чо вам, кино? Пошли отсюда!

Но сейчас мы смотрим на Джека. Лицо его странно изменилось, веснушки потемнели на нем — все можно сосчитать, а в глазах слезы.

— Ну чо вы? Ну, любовь у них, ну чо такого? — удивленно и досадливо объяс-

няет Витя нам, непонятливым, а смотрит на Джека.

— Любовь? — спрашивает зло Джек. — Да они же старые! Стары-е-е!

— Сам ты старый! — возмущается Витя. — Вон плечи как у столетнего согнулись...

Джек дергается весь будто от толчка изнутри, тяжело дышит открытым ртом некоторое время, а потом с присвистом спрашивает:

— А, а как же... как же мутти?

— Но ее же нет... — говорит Витя тихо и неуверенно.

— Нет, есть, — Джек приподнимается на коленях, сжимает костистые кулаки, словно думает наброситься на Витю, и упрямо твердит: — Она есть! Я всегда думаю о ней. Значит, она есть! Всегда есть! — он стучит кулаками о землю и тут же упирается в них головой, тело его изгибается полукольцом и подрагивает...

— Чо спорить? — говорит Сашка примиряюще, нарушая долгое молчание. — Ну, для нас они, может, и старые, а для самих себя молодые. Точно, Тулай? — Обхватывает за шею ткнувшегося к нему пса, трется о его морду, чуть не целуя, и повторяет еще раз уверенно и твердо:

— Да, для самих себя!..



Александр Ибрагимов

ИЗ ЦИКЛА «ГОРНЫЙ КОВЧЕЖЕК»

* * *

Посредине зимы,
Посредине снегов —
Все же выжили мы,
Не оставив долгов.

Чистый снег на холме.
Чистый снег под холмом.
Заходите ко мне
В чисто вымытый дом.

* * *

Не испугайся строк,
Сверкнувших пиоткуда...
Вот Ландыш-мотылек.
Вон Деревце-причуда.

В сияющий поток
Вбегай... резвись младенцем! —
За радугою строк
Ждет мама с полотенцем...

* * *

Ночь прозрачная в долине.
Тени дымные от гор.
На прокосах лунный иней.
Далеко внизу костер...

Вниз спускаемся... Уздечка
Холодеет за спиной.
Будто млечная овечка
Облако спешит домой...

* * *

В полдень зябко, как в овраге.
Не согреться от лучей.
И в хрустальном саркофаге
Еле теплится ручей.

Солнце клонится все ниже.
Тень длиннее на лугу.
Подступают горы ближе
В ослепительном снегу.

* * *

Последний луч в долине.
Последний в доме свет.
И нет тебя в помине,
И дня в помине нет.

И только свет закатный.
Отвесный снежный склон.
Лазурный, розоватый
И звездный небосклон...

* * *

Рано-рано потемнело.
Тихо-тихо в за-Мульте.
Печь зажгли. Забыли дело.
И сидели в темноте.

Билось детское сердечко.
Кто там ходит за окном?
Со свечою на крылечко
Вышли... Снег идет кругом!

* * *

По хрустальной крышке гроба
Катят дети на коньках!
От пушистого сугроба —
До обрыва в тальниках.

Подо льдом лежит царевна —
На мизинце сон-кольцо.
Упади на лед... И верпо —
Разглядишь ее лицо.

* * *

Я запомнил перед сном
Маму на тропинке.
Одуванчиковый холм.
Летние пушинки...

Я проснулся... За окном
Пусто на тропинке.
Одуванчиковый холм.
Зябкие снежинки...

* * *

Или первый растаял снежок —
Или тает последний?
Дед и внучек пришли на лужок —
Зимний? Летний?

Внучек ягоды рвал-обрывал —
Землянику-клубничку...
Дед по пояс в сугробе стоял —
Жег последнюю спичку.

* * *

К мужикам на лесопилку
Бабушка пришла.
Принесла с вином бутылку
Темного стекла.

И сказала, как вповину:
Зажилась давно.
Надо мне на домовину
Тихое бревно...

* * *

Дурашливый-куражливый
При власти мужичок.
Ходи его обхаживай
И вдоль и поперек.

А он тебе не батюшка,
Не господи прости...
И вся-то его властюшка —
Дровишек подвезти.

* * *

Не успели оглянуться —
Травы выше головы.
Не успели улыбнуться —
Сколько скошено травы.

Не успели... Как приспели
На лугу плоды-стога...
Вот и снова не успели —
Всё засыпали снега!

Разлетелись рубленные строчки —
отошла рукопись вконец,
и дошел до самой крайней точки
безрассудный юности гонец...

Но не знает страха и системы
одержимость сердца, как весна,
ледяные взламывая стены,
оживляя в почве семена.

Ведь из трещин, впадин и развала
той земли, что выплстаю я,
вспыхнет вверх легко и небывало
свет надежды к смыслу бытия.

* * *

Когда крестьянин пашет, пашет,
в ушах его звенит, звенит
не молодое пенье пташек,
взлетевших в солнечный зенит,
не буйство ветра травяного
на просыхающих лугах,
не звук торжественного слова,
рожденный в праздничных
губах, —
то кровь звенит, то помнит время
о том, что почвы просит семя.

* * *

Упорхнула куда-то кровать,
шкаф исчез и рассеялись стулья..
Остается сидеть, горевать,
как пчеле без обжитого улья.
Но поверю, когда ты уйдешь
навсегда обживаться к другому,
что богатство мое — снег и дождь,
и дорога, что гонит из дому.

* * *

Это было со мной на природе:
пели птицы, поляна цвела,
через хрупкий плетень в огороде
прямо к небу тропинка вела,
сквозь туман, сквозь полынь

и красиву

приводила к зеркальной воде,
но не трогала млечную ниву,
не тянулась к дрожащей звезде,
обрывалась у самого края...
Но не будет конца па краю,
если я, ее путь повторяя,
рядом с небом сегодня стою.

* * *

Где-то здесь, вторя ветру и лесу,
мы сошлись со случайных сторон,
и ушли под ночную завесу,
и пропали, как утренний сон.
Пропадали мы, словно иголки,
в шелестящих от ветра стогах
за сто верст от беды и размолвки,
от небесной любви в двух шагах...
Почему же один пропадаю,
сделав шаг к неземным голосам,
на земле, где печально гадаю
о любви, что придумал я сам?

д. Красный Ключ

*Александр Легчило*

ТОГДА ЕЩЕ БЫЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

РАССКАЗ

Родная избушка еще стоит. Целы и баня, и стайка. Теперь это все принадлежит городскому обществу охотников. Никого нет.

Но все равно кажется: вот-вот гоготнут гуси, звякнет ведро, и мальчишка с выгоревшими от солнца волосами пойдет к колодцу, к пацанам.

В первой комнате ничего не изменилось. Слева — топчан, справа — печь и стол.

Половицы закрипели, узнавая. Открылся глаз-сучок, и весь дом приветливо улыбнулся давно не копопаченными щелями.

Во второй комнате было несколько топчанов и вепалки. Не побелено, все серо. В углу, где была икона, — божничка и паутипа.

Сколько здесь перебывало людей! И может, кому-то и мелькнул мальчишка с выгоревшими волосами, но вряд ли пришло в голову, что это бродит мое детство. Скорее всего подумал: «Ну и набрался же я!»

А детство не может уйти, оно привязано к месту до самого последнего часа.

И вот она — взрослость. С членским билетом общества охотников, с немецким ружьем за плечом. Стоит в родпой комнате. На лице улыбка, а в глазах слезы.

Реакция воссоединения... с выделением влаги.

В бане чисто. В предбаннике веники.

Раньше с братом бегали париться первыми. Однажды брат из баловства пустил струю с полка на камни. Следом за нами пришел отец. Потом порол обоих. С тех пор всегда парились последними после женщин.

В стайке горка крупной соли, угол забит осиновыми ветками. Подкармливать зверей. Запах павоза почти улетучился. На стайке с полкопны свежего сена. Как будто специально для меня. Хотя любителей поспать на свежем сене много.

Огород опускается к речке, дальше тайга. Кроме картошки, ничего не сажают. Скоро копать. Придет егерь (это он садит) и устроит воскресник для охотников. А раньше копали несколько дней. Ныла спина, болели ногти. Копаешь, а как копаешь, не замечаешь. В мыслях ты далеко и прерываешь эти мысли лишь для того, чтобы сменить рядок.

По дну лога протекает речушка. Сидели на ее берегу с пацанами, ловили рыбу. Вода прозрачная, видно камушки, стайки суетливых гальянов. Пескарь, неторопливо ищущий что-то на дне. Под широкими листьями водяных лилий притаились щурята. Их называли начальниками, у каждого собственный кабинет.

«Сейчас к-э-ак клюнет налим!» — говорил кто-нибудь, поплевав на червяка и закидывая удочку. Всем хотелось поймать налима. Никто так налима и не поймал.

Тех, кто ходили в тайгу ради тайги, в деревне было мало. Из взрослых, кроме отца, еще двое или трое человек. А из ребятшек только мы с братом. Он хоть и был младше почти на год, но страсть к тайге испытывал гораздо большую, чем я. В будущем брат представлял себя лесником, егерем, охотоведом. Сейчас он работает на шахте, и в тайге хоть и бывает, но редко.

А тогда в тайгу мы ходили почти каждый день. Спускаешься в огород, переходишь по жердочкам речку и по тропинке погружаешься в полумрак леса. Раньше эта тропинка была кротовым путиком деда, который жил в соседнем доме. Дед уже не мог ходить в тайгу. Он покряхтывал, опираясь на палку, притакивался к нам, садился на завалинку, и мы рассказывали ему о том, как сходили. Иногда он прерывал рассказ: «Слева, тут под пихточкой, муравейник большой. Чуть-чуть вправо, на большую сухую березу, там пеньки пойдут. Если опять, дальше ходить не надо. Бывало режешь-режешь, пышти заболит. А потом несколько раз ходишь выносишь. Напластаешь столько, за один раз не вынесешь. Да.

Всем есть охота, всем. Берете грибы, про зверей подумайте. Сыроежка — хлипкий гриб. Ево што берешь, что не берешь, а накопи его на веточку, глядишь, и сгодится кому-нибудь. А не по грибы пошел накалывай все, что попадутся. Польза будет. Ореха нет, тяжело белке. Да».

Потом, уже через много лет, мне рассказали, как добытчики ловят кротов. Зарывают ведро на кротовом ходу, и все семейство оказывается там. Я представил, как тыкаются, бьются о стенки ведра слепые кроты, наверное, так же бьются о грани жизни их ловцев.

На косогоре жил лесничий. У него был сын, самый старший из нашей компании. Старше меня на год.

Я помню, когда мы ходили на большую речку, где гальянов за рыбу не считали (бросали обратно), он их затапывал в берег, приговаривая: «Попался, дешевка! Будешь знать».

Это было после восьмого класса. Время порывов и сомнений. Ведь можно и не ходить в девятый. Многие поступили в техникумы, училища и, казалось, сразу стали взрослее.

Я сейчас иногда с трудом вспоминаю людей, причастных к моей жизни, но я помню отчество сына лесничего. Как-то он сказал: «Еще немного, и все меня будут называть только Виктор Николаевич».

В конце того же лета у Виктора гостила двоюродная сестра Валя. Приехала из маленького городка, что неподалеку. Моя ровесница. Она мне понравилась. Очень.

Я прятался за изгородью и заглядывал в окошко. Потом она стала выходить на улицу. Как-то я ей небрежно бросил: «Пойдем, прогуляемся до заготскота? Теперь это, конечно, звучит по-другому: «Посидим в баре?» Или: «Не зайдете ли вы ко мне на чашечку кофе?» А тогда это была прогулка до заготскота, где за большим загоном валялись старые сенокосилки, ломаные конные грабли, прочее ненужное железо. В окружении природы, где под каждым кустом и «стол и дом», тянуло к железу, к ржавчине.

— Пойдем, — выдохнула Валя. Как будто ходили вчера, позавчера, третьего дня, и почему бы не пройтись.

Мы направились по дороге из деревни. Идти нужно было километра полтора, ночь была лунная. Грязь блестела и чавкала. Шли молча, о чем говорить, я не знал, хотелось вернуться. Что нужно было делать с девушкой на заготскоте, я знал по рассказам сверстников и старших ребят. Получалось, надо грубить, а потом она, дескать, сама. Как все это

делать, я не представлял. Сердчишко — тук-тук. Я бы вернулся, но знал, что, если бы это сделал, никогда бы не простил себе. Я первый раз шел с девушкой...

Еще бы, еще бы — в первый раз!

Но невозможно. Необратимо движется время. Все меньше и меньше остается чего-то первого. И будет последний раз, который тоже не повторить.

Виктор догнал нас на выходе из деревни, отвел меня в сторону.

— Ты же знаешь, что это моя сестра. Если что, отец голову оторвет. Щупать-то щупай, да смотри. Понял? — И он зашагал обратно.

Стало противно, как будто в темноте схватил холодное, склизкое и извивающееся.

— Что он сказал?

— Да так, ничего.

— Нет, правда, что он сказал?

— Ничего он не сказал. Два слова.

Потом Валя задавала этот вопрос всю дорогу. Я отвечал уклончиво (нашлась тема, разговорились, — в душе издевался над собой). Но мы дошли до места, в сто первый раз спрашивать «что он сказал?» Валя не стала, мы присели на оглоблю сенокосилки и замолчали.

Как все должно быть, я представлял. Мы целуемся, обнимаемся, клянемся в вечной любви. Но как должно быть вначале? А может, ей холодно? Так просто.

— Валя, тебе не холодно? — первый раз назвал ее по имени.

— Нет.

Помолчали еще. Мне представилась ехидная Витькина рожа.

«Ну, что, сеструха, нацеловались?»

«Да ну его, пень какой-то».

От представленной сцены стало жарко. Я придвинулся к Вале поближе, меня поколачивало, обнял одной рукой за плечи, другой развернул лицо и ринулся целовать. Получил сильный толчок в грудь, упал спиной на землю — ноги на оглобле. А в голове поучающий голос: «Сначала сопротивляется, а потом сама. Сама».

Я сел, где сидел, мы еще помолчали, разом встали и молча пошли в деревню.

Потом Валя уехала учиться в лесной техникум. Я ее не видел три года. Приехал в деревню после первого курса института. Уже побывал на практике, где сверх того нашей группе удалось подзаработать на коровнике, потом почти все поехали в Тагру дикарями: нам неплохо заплатили. Под впечатлением от моря, круговерти людей, тысяч километров (ездили на поезде), я спускался к речке пройтись по знакомым местам. Казалось, все, что происходит в жизни, — это подготовка к чему-то хорошему, которое ждет впереди. И все казалось вечным, и все, казалось, принадлежит тебе, лишь протяни руку и возьми.

Чуть выше полуразрушенной запруды на мостках стояла женщина и полоскала белье. Я подошел ближе, поздоровался. Женщина распрямилась, провела тыльной стороной ладони по лбу, убирая волосы.

Милая Валя. Мне часто вспоминается мостик, белье, женщина. Тихое: «Здравствуй». И как будто уже о чем-то договорились: «Подожди, я сейчас, быстро».

Я нес ведра в руках, она коромысло, и мы молчали. На ней были халатик и синие трико, закатанные до колен. На ногах резиновые калошки... Вздернутый нос, пухлый рот, карие исчерна глаза. Я представил, как мы будем целоваться. Холодный нос тычется в мою щеку.

И мы целовались.

Ходили по дороге, а ходили много и бесцельно, и целовались.

При закате и в темноте.

Тогда еще было электричество. И радостно светились окна в обрамлении бархатно-темных огородов. И светились Валины глаза, и этим светом она омывала меня и отмывала меня. Как же я мог разглядывать рот, нос? Это же Валя!

Она гладила по голове, шее, перебирала волосы. Шептала мое имя, всячески

его изменяя, ласково и уменьшительно.

Я говорил, что всегда думал о ней, и мне казалось, что это правда.

Ночью мы вернулись в деревню и потихоньку пробрались к нам в стайку, на сеновал. Я всегда по возможности спал на сеновале. У меня все там было оборудовано. Сверху наваливал на себя большой тулуп, в котором любил засыпать зимой в саях, когда ездили далеко.

Рассвет нас не разбудил, мы не спали. Руки искали и находили друг друга. Хотелось, чтобы это не кончалось. Но граппя перейти не мог. В самый момент, когда напряжение равно миллионам вольт, она шептала: «Миленький, я боюсь», — и я отпускал ее.

Прощаясь, она сказала, что в этот день уезжает. Скоро занятия, а ей нужно было заехать к матери. Провожать я ее не пошел. Черкнул адрес техникума, обещал писать и приехать. Но я не приехал и не написал. Казалось, все еще в жизни будет, куда торопиться. Года через два, я слышал, она вышла замуж.

* * *

...Спать в избе на топчане я не собирался. Пошел на сеновал, выложил плащпалатку, одеяло, запасы еды. Впереди был день, хотелось пробежаться по тайге, посвистеть рябчика.

Я пошел по дороге на пилораму. (Когда-то там была пилорама). До первой промоины дорога была наезжена, а дальше покрыта мягкой лиственной дорожкой. Вдоль дороги облетевшие осины, внизу кустарник, в основном смородина и тальник. Попадают зеленые островки пихточек и елей.

В стороне свистнул рябчик. Я ответил. Пи-и, пи-и — два длинных, а потом убывающей с небольшим вывертом. Манок — подарок одного старого охотника. Сделан он из какой-то заячьей косточки. Подражание отличное. Рябчик мне ответил, но оставался на месте. Я шел

мелкими шагами, опуская ноги на пятку, чтобы не шуметь. За небольшим поворотом я увидел его. Он сидел на черемухе, мелкие ветки загромождали. Стрелять можно было, но мне захотелось рассмотреть. Я стал обходить. И вот он как на ладони. Красавец — хохолок торчит; склонил голову — интересно. Глупая ты курица. Я поднял ружье, передвинул левую ногу чуть вперед. Треснула ветка, и рябчик снялся и резко свернул за куст. Я рассмеялся. Досады никакой не было. Закинул ружье за плечо, пошел дальше. На душе становилось все лучше и лучше. Проходило похмелье городской жизни.

Через час с небольшим дошел до места, где раньше была пасека. Сейчас стоят полуразрушенный, полусожженный дом и такой же ошманник. Все поросло крапивой и полынью. Какой-то клещ сгубил всех пчел.

Лет пять назад я возвращался с охоты и зашел на пасеку. Пасечник дядя Коля нарезал меду в сотах, дал малосольных огурцов, налил кружку медовухи. Хороший напиток, резкий, холодный. Я принял еще кружечку, поел огурцов с медом. И мне лень стало идти дальше. Времени было достаточно, и я лег вздремнуть под куст. Когда проснулся, с трудом разлепил глаза, помогая себе пальцами. Лицо горело. Дядя Коля, увидев меня, смеялся минут десять. Пока спал, пчелы садились на перепачканное медом лицо, а я их хлопал. Потом чуть ли не вся деревня прибежала на меня посмотреть.

Прекрасна осенняя тайга. Если зимой она похожа на дворец, вызывает восхищение своим величием, то осенью это родной дом, и все в нем приготовлено для тебя руками матери. И настоящее остается, а мелкое и суетное уходит. Охватывает ликование, настоящее на запахах, шелесте и просторе.

Эх, сохранилось бы все по возвращении в город!

К деревне подходил поздно. Скоро дол-

жно было темнеть. Так я ни разу и не выстрелил.

Возле приземистого дома сидел дед Трунов. В деревне остались почти одни кержаки, которых с насиженных мест нужно выкорчевывать силой, а сами они никуда не двинутся.

— Здравствуйте, — подошел я к деду.

— Здоров, — он пристально разглядывал меня. — Что-то я тебя не знаю, парень. Ты чей?

— Вот там мы жили, — я показал рукой.

— А-а, вас и не узнаешь, повыврастали. Левои недавно приезжал, своя машина, в шляпе. Надолго?

— Завтра уезжаю.

— На выходные?

— Да.

— Убил чо?

— Нет.

— Что ж без толку таскаться.

— Ладно, дед, пойду сготовлю перекусить, а то потом в темноте возиться.

Мы попрощались. Раньше из Трунова и двух слов нельзя было вытянуть. Даже на приветствие бурчал что-нибудь невразумительное — не то здоровался, не то посылал тебя куда. А здесь разговорился. Скупо одним старикам.

Я залез на стайку, достал «шмель», работающий на бензине, банку каши с говядиной, хлеб, чай, котелок, спустился во двор. Поставил «шмеля» на плитку летней печки, поджег фитиль. От бензинового огонька тнуло холодом. Закрутив фитиль, отнес агрегат на стайку. Взяв сухое полено на лучины и кусок газеты, с рюкзаком пошел через огород в лог, к речушке. Пока пасовал дрова, уже стемнело. Развел костер. Подвесил котелок с чаем, в крышку котелка вытряхнул кашу и поставил ее разогреваться с боку костра. Я полулежал рядом. Язычки пламени напоминали ритуальный танец, а обугленная ветка щелкала и шипела, проявляя недовольство расшалившейся ватагой.

Съел кашу, попил чай. Обжигая гу-

бы, покалывая язык, он как бы говорил: «Не торопись, не торопись».

Я подбросил еще дров и закурил. То глухо, то нежно журчала вода в речушке, тайга сонно вздыхала, с ветерком начинала похрапывать. И блики на воде, как проблески памяти, тихо уводили к звездам.

Дрова кончились, в костре чуть-чуть тлели угольки. Я собрал пожитки и пошел в гору, на сеновал. Бросил под голову рюкзак, расстелил плащ-палатку, потом лег, завернул себя концами плаща, а сверху натянул одеяло, подоткнув его под бока. Я плыл по запаху сена, медленно заплывая в сон.

В углу, там, где была лестница, зашуршало. Я открыл глаза.

— Кто здесь?

— Это я, Валя.

Я закрыл глаза, мотнул головой. Началось?! Но шаги приближались.

— Я видела тебя утром, как ты шел, — она села рядом.

Было слышно прерывистое дыхание. Ощутил на лице прикосновение пальцев. Я пытался ее разглядеть, но на сеновале была крошечная темнота. С одной стороны крыша забрана досками, а с другой — завалена сеном.

— А ты как здесь?.. — Я нашел ее руку. На ладони были мозоли.

— Виктор поехал, Ивана потянул, ну а он — меня.

— Иван — это...

— Муж. — Валя произвольно сжала кисть. — Дом еще стоит. Виктор продает его на слом. Сегодня покупатель смотрел.

— Как ты живешь? — Внутри что-то сжалось, защемило. Свету бы, хоть на секунду, хоть на мгновение. Так захотелось увидеть ее. Она молчала, наверное, думала, что ответить. Я полез за спичками, чиркнул о коробок. Блестящие глаза — все, что я увидел. Спичка погасла. Я полез за новой.

— Не надо, сгорим. — Она отвела мою руку с коробком в сторону. — Живу, сы-

на ращу. Бухгалтером в лесхозе. Вот и вся моя жизнь.

— А муж?

— Шофер в гараже. И Виктор там.

— Называют его Виктор Николаевич?

— Называют. Он механиком. Два раза женился. Сейчас опять холостой.

— Как же они тебя отпустили?

— Спят оба пьяные в стельку.

— Муж пьет?

— Почти каждый день. В будние — с калыма, в выходные — в честь праздника. А-а, зачем все это. Ты о себе рассказывай. Где работаешь?

— Работаю в институте. М. н. с. Младший научный сотрудник. Семь лет пишу диссертацию и вряд ли когда напишу.

— Ты жеват?

— Был.

— Она красивая?

— Говорят, что да.

— А почему развелись?

— Не знаю, кто виноват, но с ее слов, у нас все было не как у людей. И потом стало оказываться, что я постоянно плохой. Прихожу трезвый, вовремя — плохой. Прихожу поздно, пьяный — плохой. Не прихожу совсем — плохой. Сейчас я, может быть, такой же плохой, только некому об этом говорить.

— А дети?

— Не было детей. Она не хотела... «нищету плодить».

Валя придвинулась ближе, взяла мою голову, зажав между ладонями, перебирая пальцами волосы. Прошептала: «Миленький». И это «миленький» как искра прошло через меня. Как какое-то связующее звено между прошлым и настоящим. Я подвинулся, давая ей место.

Это было похоже на падение, когда падающие помогают себе нелепыми движениями, криками...

Мы упали в пропасть, а оказались на сеновале. Я провел по Валиному лицу. Она плакала.

— Ну, что ты, — я вытирал слезы, а она все плакала и плакала, неслышно, только слезы текли. Валя погладила меня по груди.

— Ты мягкий, как плюшевый мишка, — она села, тяжело вздохнула. — Вот я и изменила мужу.

И непонятно, чего в интонациях было больше: отчаяния от случившегося или радости. Так все переплетено.

— Какая же это измена. Это произошло не сейчас. Это произошло тогда. Тогда ты с ним еще не была знакома.

Пространство посерело. Какие-то щели все-таки были. Стали проступать очертания предметов, силуэт Вали.

Поеживаясь, одевались. Перерыли половину копны.

Мы стояли под навесом стайки. Валя тыкалась носом в мое плечо. Я гладил ее по голове.

— У меня еще никогда так не было. Если я еще раз изменю мужу, то я буду изменять не ему. Я буду изменять тебе. Может, мне развестись?

— Не знаю, Валя. Если мужчина говорит женщине: «Разводись», — он должен на ней жениться.

— Прощай.

— Прощай.

Она шла не оглядываясь, завернула за угол дома, скрипнула калитка.

Я быстро сбросил вещи в рюкзак, закинул ружье и пошел по дороге. Пройдя мостик, на пригорке я остановился и посмотрел назад.

За крайней полуразрушенной городьбой стоит мальчишка с выгоревшими волосами и машет мне рукой. Или это невызревший подсолнух качается на ветру?

Евсей Цейтлин

ДВЕ ВСТРЕЧИ

ОДИН ДЕНЬ В КОНЦЕ ЛЕТА

I

Я ехал к шорскому поэту Степану Семеновичу Торбокову. А он умер. Узнал об этом уже в дороге, в автобусе, когда, подъезжая к деревне, где жил Торбоков, стал спрашивать, как найти его дом. Подумал тогда: снова опоздал. И еще подумал, что опять придется идти по следам чужой жизни.

Хотел приехать к Торбокову еще весной. Уже собрался, прочитал несколько трудов ученых о Горной Шории, разыскал в библиотеке сборники стихов Степана Семеновича. Но в тот год смерть постучалась и в мое окно. Телефонный звонок среди ночи, испуганный голос соседки родителей. Внезапно умер отец. Не дожив до шестидесяти лет. Почти никогда и ничем не болел.

Я поехал в Горную Шорию, когда лето уже кончалось. Днем еще пригревало солнце. Но уже пришла та особая, холодноватая и спокойная ясность, что присуща только ранней осени, без дождей и слякоти: в это время с особой четкостью видишь и свою и чужую судьбу.

В конторе отделения совхоза было в меру шумно. Мужики курили и разговаривали, а управляющий все торопил идти к медпункту: там делали флюорографию на приехавшей из города специально оборудованной машине.

В селе уже открылся магазин. Оттуда, как, наверное, во всякое утро, несли одно и то же: хлеб, сахар, водку, другие нехитрые товары. Хлопали двери школы. Построенная несколько лет назад из красного кирпича, она стояла

на пригорке, как раньше возвышались надо всем окрест церкви.

Так жило село Тайлеп спустя полтора месяца после смерти Степана Торбокова, одного из талантливых шорских поэтов.

Нельзя сказать, что эта смерть оказалась незаметной для людей. Проводить Степана Семеновича пришли все деревенские, побросав свои спешные, в июле, дела. Оградку и гроб мастерили ученики Торбокова. На кладбище директор школы долго читал его стихи. И никто не ушел: стихи были созвучны и старому кладбищу, и природе, и, конечно, душе человека, который их писал. Его хорошо знали все тут: Степан Семенович выучил не одно поколение тайлепинцев.

Но, конечно, эта смерть ничего не изменила вокруг. Как и любая смерть. Жизнь шла дальше своей непредугаданной дорогой. Кто-то, а сам Торбоков понял бы это. Я читал потом дневник, который он вел около четверти века. В дневнике отразилась жизнь, какой ее ощущал Степан Семенович.

Сын Торбокова — счастливо застал его в отцовском доме — никак не мог уяснить, что меня привлекло в дневнике и для чего я выписываю из старой тетрадки все эти однообразные строчки; ведь там гораздо больше чувствуется синоптик и географ, чем писатель. Мне было понятно это недоумение; Валерий Степанович, приехавший в гости к матери, работал в органах прокуратуры — у него был аналитический ум, чуткий, как я потом убедился, и к поэзии, но уже как бы «промытой», очищенной от руды жизни.

А я ощущал в похожести строчек естественную повторяемость дней. Повторяемость, ко-

торая не наскучит и не надоест. Как не может наскучить смена времен года, рождение и смерть листьев, снега, дождей. Старый учитель жил в этом потоке, слился с ним. Поэтому ему так важно было отметить и то, что «днем дождь промочил высохшее сено», и то, что «вылетел рой» пчел. А рядом с записью: «проливной дождь, гром, сверкала молния» появилась другая: «Скончался Семен Алексеевич»...

Кстати, кем приходился Торбокову этот Семен Алексеевич, я так и не узнал.

Был теплый полдень. По дому неслышно сновала сухонькая энергичная старушка — жена Торбокова, Анастасия Алексеевна. Ей исполнилось тогда семьдесят пять лет. Она по привычке легко и просто управлялась по хозяйству. Однако движения ее давно стали экономными. И экономными были слова. Она пожалела, что я не застал Степана Семеновича, точно он не умер, а всего лишь уехал — к родственникам или в командировку.

Анастасия Алексеевна завела блины. В это время Валерий Степанович стал рассказывать об отце. Он тоже был уже не так молод — в толстом вязаном свитере, в темных очках, коренастый, начинающий полнеть. Типичный горожанин и, может быть, типичныйследователь, какими их показывают в кино.

II

Торбоков родился в семье, где детей, по шорским понятиям, было немного — всего пятеро. Его дед был охотником, отец тоже. Кстати, Степан и появился на свет в охотничьем шалаше. Про деда в округе рассказывали легенды; например, говорили, что он на лыжах догоняет черную лисицу. Отец же и умер в тайге: в семьдесят семь лет отправился на охоту, попал в ураган, замерз, не дойдя до дома.

Матери Степан лишился гораздо раньше, чем отца — в девятнадцать лет. Он помогал отцу растить меньших братьев и сестер. Женится, когда было под тридцать. Вышло все необычно: поехал на праздники в Мыски, там и увидел свою Анастасию. Это была в прямом

смысле слова любовь с первого взгляда. Степан увез Настю в Осинники — украл, как говорили тогда. Он угадал свое и ее чувство. Так иногда, случайно, можно угадать будущее.

Они прожили вместе пятьдесят два года.

Сейчас, время от времени, я смотрел на Анастасию Алексеевну. Лицо ее было сжато морщинами. Но глаза жили по-прежнему молодое. Оказалось, именно она посоветовала Степану Семеновичу пойти учиться. Он закончил курсы ликвидации неграмотности, учительские курсы, потом — уже в сорок третьем году, заочно — Томский университет.

Она тоже училась. Директор Тайлепинской школы однажды привел в пятый класс свою двадцатидвухлетнюю жену. Правда, Анастасия Алексеевна была не единственной взрослой ученицей в этой детской школе.

Она закончила семилетку и решила, что образования ей хватит. Напомню: все это происходило в конце двадцатых годов.

...Неожиданно пришел еще один гость. Представился: «Терентий Сергеевич, сосед».

Он работал в совхозе связистом, до того, немало лет, трактористом. Конечно, хорошо помнил Торбокова. Но вспоминая, стал говорить о... сказках.

Выходило, что сказок Степан Семенович знал сотни две. Был он кайчи, то есть сказителем. Даже уходя на охоту, брал с собой комус. «Кругом-то шорские села, Торбокова везде знали и всегда спрашивали спеть».

Зашла речь о сказках, преданиях. О шаманах, когда-то умилостливавших духов — хозяев рек, гор, тайги; в жертву тогда зачастую приносили лошадей. О древнем культе медведя, который сохранился в шорских сказаниях. О том, как когда-то хоронили людей — на дереве, завернув в бересту. Считали, что так человек быстрее попадает в «верхний» мир.

А кайчи были хранителями прошлого — живыми архивами. Эти архивы передавали не из рук в руки — из уст в уста.

Потом сын Торбокова вернулся к прошлому их семьи, разглядел там почти забытое.

— Отец не мог без аудитории. Только, на-

верное, никогда бы в этом не признался. Скучал, когда его долго не приглашали выступать. Иногда, проснувшись, я видел: он сидит с кокусом в руках и тихо-тихо поет.

Валерий Степанович вздохнул. А я подумал, что Торбоков в этом смысле был не одинок — многим людям не дает покоя неутоленный талант.

III

Был ли он счастлив? Считал ли свою судьбу удавшейся?

Если говорить о литературной биографии Торбокова, вряд ли она покажется счастливой даже самому убежденному оптимисту: при жизни Степана Семеновича вышло три тоненьких его книжки...

Но все дело в том, как смотреть на эту жизнь. Торбоков считал себя поэтом, уважал работу литератора. Только свое главное призвание он все же видел в другом. По этому главному призванию он и стал учителем, одним из первых шорских интеллигентов.

Он организовывал кооперацию, заведовал народным домом, открыл для своих земляков кино. Долгие годы Торбоков был едва ли не самым грамотным человеком в селе. К нему приходили за советом, помощью. И он хлопотал о пенсиях, составлял прошения, в огромном количестве писал письма чужим родственникам. Разумеется, сердился, когда кто-то хотел «отблагодарить» его. Напротив, сам помогал деньгами многим и многим.

Не случайно, по-моему, свою первую книжку Торбоков выпустил, уже выйдя на пенсию. Поставил точку в одном важном деле и начал другое.

Вспоминаю один день давнего лета, а потому совсем коротко скажу о том, что поразило меня в стихах Торбокова. Всегда считал, что литература не может обойтись без трагического начала, как не может обойтись без него жизнь. Но в поэзии Степана Семеновича трагического не было. Почти не было. Он ведь в основном писал о природе, а природа гармонична и вечна.

В сущности, Торбоков долго вел одновременно два дневника — один прозаический, другой — стихотворный. И там, и там главным действующим лицом была природа.

Вот его стихотворение о летнем ливне: автору кажется, что кто-то... доит небо; капли дождя «гулко, радостно» падают на землю, точно в «большой подойник». Впрочем, нет, это не вода — «с неба пролит мед»; именно так пахнет мокрое сено...

IV

Последние годы Степан Семенович жил ожиданием. Ожидание наполняет часы и дни смыслом, пронизывает их внятным тебе одному огнем надежды. Но будучи напрасным, ожидание губит человека, сжигает последние мостки к завтрашнему дню.

Степан Семенович знал цену своему творчеству, помнил лица земляков во время чтения его стихов, но он понял однажды: оставшиеся до смерти годы надо употребить не на писание собственных стихотворений, надо записать народный эпос шорцев.

Память его обострилась; вспоминались песни, сказания, слышанные еще в детстве. Иногда он шел к старикам — уточнить, дополнить. Миновали недели и месяцы. Он был счастлив. Цель не казалась дальней, а главное была чиста.

Наконец Торбоков поставил точку. Он отправил рукопись в Москву, в государственный литературный музей. Ответа не было. Неужели его работа пропала? Стал сам встречать почтальона. Уговаривал себя тем, что ответ должен прийти не скоро. Но ответа не было, вообще. Почтальон виновато прятал глаза, пусть и не знал, какого известия ждет старый учитель.

А Степан Семенович стал сдавать. Вечером, с устатку, он плескал в стакан спиртного, хотя раньше никогда не выпивал: хотел расслабиться, забыть про ожидание. Он написал запрос о судьбе своей рукописи. Теперь ответ пришел быстро. Потом я переписал то письмо в блокнот: «№ 162... 27 марта 1978 года. Сборник «Шорское народное творчество» в фондах Литературного музея обнаружить не удалось.

Он не числится в инвентарной книге сектора фольклора».

Надежда ушла, не оставив иллюзий. Все же Торбоков послал в Литературный музей вторую бандероль. Как видно из дневника, уже вскоре он отправил в Москву два эпических сказания.

Человек нашел в себе силы начать все сначала. Но сил было мало.

Смерть явилась в середине того знойного, душного лета. Все, кроме него, ушли на покос. Степан Семенович работал с пчелами — никому и никогда не доверял этого. Видимо, он упал, когда почувствовал боль в сердце. Пчелы не узнали хозяина, стали кусать. Он лежал, повернув голову к небу. Как считали в Шории раньше, в небо уходит человеческая душа.

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЖИЗНЬ?

I

Почти всю жизнь он проработал бухгалтером. Шелест страниц в толстых книгах, стук косточек на счетах, полотнища ведомостей, черные нарукавники; квартальный отчет, годовой отчет... Наверное, иногда он думал: неужели так пройдет жизнь?

То, что он был еще писателем, сказалось как бы нечаянно — в «географии» судьбы. Он исколесил полстраны, оставаясь по штату все тем же бухгалтером. Его перебрасывали с места на место, зная: Тотыш легко соглашается на переезды, несмотря на большую семью.

В Мыски, на родину предков, Софрон Сергеевич приехал уже пенсионером. Еще раньше построил здесь дом — в том месте, которое давно облюбовал. Он умер несколько лет назад, а дом и сейчас стоит на берегу своеправной горной реки. Рядом — пансионаты, пионерские лагеря. Зимой здесь совсем тихо.

...Он вынес мне свои тетради осторожно, неловко. Так мужчины выносят грудных детей. Тетрадей было шестнадцать. Обычного размера, их еще называют «общие». В таких конспектируют лекции, пишут стихи, ведут днев-

ники. Софрон Сергеевич признался: показывает тетради мне первому.

Еще он сказал, что раньше писал на отдельных листах. А недавно перешел на тетради: перенес сюда и незавершенное, и законченное. «Чтобы потомки не запутались...»

Поймал мой взгляд, понял. И добавил спокойно, что умирать не собирается. Но тут же заметил: когда-нибудь уйдет, растворится среди других народов его народ, пусть это будет не скоро, но это возможно, так было уже не раз на земле. И тогда, через двести-триста лет, какой-нибудь ученый найдет в библиотеке или архиве его тетради. Может быть, они пригодятся...

С какой же тетради начать? С этой?

II

...Спросил Софрона Сергеевича, не жалеет ли он о том, что всю жизнь был бухгалтером. Ответил подробно — наверное, много раз задавал себе этот вопрос сам.

«Не жалею. Бухгалтер, мне кажется, ближе всех к производству, видит его по-своему зорко, как и людей, участвующих в деле. Да и вообще деньги играют большую роль в жизни человека. Стоит это скрывать, затушевывать? Через деньги, точнее через отношение к ним людей, я не раз, словно через увеличительное стекло, наблюдал характеры и судьбы».

В трех тетрадях уместились его «Рассказы о бухгалтерях». Это был неожиданный, в чем-то уникальный цикл.

Иные рассказы Софрон Сергеевич написал вчерне, над другими еще собирался работать. Я записал некоторые сюжеты. Попробую передать хотя бы мысль, которая волновала автора.

Вот новелла «Потеря трехсот тысяч». В геолого-разведочной партии пропала из сейфа большая сумма денег. Загадка? Еще бы. Вечером кассир запечатывал сейф при свидетелях, утром все пломбы были целы, а деньги исчезли. Соль новеллы, однако, не в детективной развязке: жена кассира передала ключ и печать для пломбы своему любовнику — бывшему уголовнику. Рассказ о вечной тайне человеческого сердца; женщину арестовывают,

а она счастлива: доказала силу собственного чувства. Читая рассказ, сразу вспоминаешь «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова. Нет, подражания не было. Просто в вечном клубке жизни содержится не так уж много новых нитей.

А другой рассказ — «Деньги в пути» начинается с пурги. Она метет много суток подряд. У начальника финансового отдела полярной авиации нет возможности переслать зарплату в дальний поселок. В конце концов деньги перевозят на оленях ненцы. Перевозят от села к селу, со случайной оказией, без всяких расписок. Это, конечно, нарушение предписаний, но риска здесь нет. Начальник финансового отдела давно живет в этих местах, хорошо знает нравы ненцев: они не могут подвести друга.

Рассказов было немало. Люди приходили в бухгалтерию решить те или иные вопросы, а Софрон Тотыш при этом читал их жизнь.

III

Одна из тетрадей называлась «Дедушкино лекарство». Тетрадь помечена 1960 годом. Значит, записи велись два десятилетия.

— Дед мой был искусным лекарем, так не хочется, чтобы его опыт погуб, — объяснил Софрон Сергеевич.

Каждая страница разделена на две части. Слева я читал описания растений, справа — советы, как их употреблять. Излагались целительные свойства подснежников, черемши, березового гриба, кедрового ореха, земляники, золотого корня, подорожника, саранки, шиповника, лопуха... Вот, например, рецепт употребления черемши, или колбы, как зовут это растение в здешних местах:

«В народе говорят: «лук от семи недуг». Усиливает аппетит, если отварить в молоке, убирает кашель. Помогает при простуде. От ожогов и при обмороживании».

Впрочем, тут были не только растения. Удивительными показались мне свойства... человеческих ногтей. Шорцы считали, что они останавливают кровотечение, заживляют раны. Я вопросительно посмотрел на Софрона Сергеевича. А он рассказал, как однажды то-

пором сильно поранил ногу. И вылечился сам, следуя дедушкиному наставлению: «Ногти надо мелко покрошить, размягчить кипятком, а потом вместе с несоленым сливочным маслом положить на рану».

Как хорошо, думаю я теперь, если бы тетрадью «Дедушкино лекарство» заинтересовались ученые. Кто знает, не ждут ли их здесь открытия. Вспомнилась такая история, рассказанная Софроном Сергеевичем. Лет пятнадцать назад он описал в повести, как его герой, шаман, по цвету волос определяет болезнь человека. Рецензент издательства с возмущением процитировал это место в своем отзыве. А еще через несколько лет одна из газет сообщила: на проходившем в Гамбурге международном конгрессе врачей был сделан доклад о диагностике болезней с помощью волос. Софрон Сергеевич, улыбаясь, показал мне газетную вырезку...

IV

Его воспринимали по-разному. Пенсионер-бухгалтер. Поздно начавший печататься прозаик, автор нескольких книг сказок. Но как ни удивительно это прозвучит, скорее всего он был философом — если иметь в виду не ученое звание, а стремление человека осмыслить главные вопросы бытия.

В течение многих лет Софрон Сергеевич задумывался над проблемой «существования» разума и чувства. Внимательно вглядывался в таинственную жизнь подсознания.

На первой странице одной из тетрадей было выведено: «Голос чувства. Записи и наблюдения». И подчеркнуто: «Лично для себя». Здесь я встретил цитаты из многих научных трудов — о проблемах нравственности, вообще о человеке. Среди этих выписок было как бы скрепляющее все признание хозяина тетради: «Меня сильнее всего интересует: в чем сущность человеческого чувства?»

Софрона Сергеевича, в частности, волновал вопрос: могут ли люди предчувствовать свою смерть? Он записал в тетрадь немало случаев из жизни. И в конце концов ответил на свой вопрос утвердительно. Чаще всего Тотыш вспоминал различных людей, встреченных им

самим в разные годы. Вот рулевой катера, отправляющийся в очередной рейс по сибирской реке. Всегда спокойный, парень вдруг не может найти себе места. Он хочет остаться дома. Но как? Почему? Так и не найдет логичного объяснения. Не поверит себе. И погибнет. Случайно.

Иногда странные предчувствия разводят любящих людей (новелла «Страх»). Они пытаются бороться, как бы спорить с роком. Предчувствия неожиданно сбываются.

Кто-то скажет: мистика. Возможно. Менее всего я хочу вторгаться в научные споры. Но хочу честно передать размышления старого умного человека. Да и Софрон Сергеевич вовсе не собирался никого запугивать, не собирался и печатать свои наблюдения. Повторю: он стремился понять законы причудливого существования нашей психики.

Жена Тотыша Клавдия Дюмидовна, с которой они прожили без малого полвека, рассказывала:

— Почти каждый день Софрон Сергеевич надолго уходил в лес. Слышал голос каждого дерева, любого кустарника.

Вот так же он хотел расслышать и «голос чувства».

V

Конечно, всегда мечтал написать Софрон Сергеевич об истории шорцев. И о том, как они кочевали — это было немало столетий назад. И о том, как в Сибири бывшие кочевники навсегда поселились в красивейшем крае, среди бурных рек и гор; стали скотоводами и кузнецами, нашли здесь железо.

Древняя история ожила в сказках Тотыша, в записанных им легендах. Была у Софрона Сергеевича и тетрадь, куда он заносил поговорки, пословицы, любые запомнившиеся ему изречения, содержащие в себе отпечаток народного опыта. Я колебался, приводить ли мне эти записи. Все ли они из «народных источников»? Все ли исконно шорские? Ведь фольклор тоже кочует из края в край. Но потом решил, что, кроме всего прочего, записи еще говорят и о человеке — о самом Софроне Сергеевиче. Конечно, он не раз обдумывал свою жизнь, сортируя эти словесные алмазы.

Иные пословицы и поговорки определяли поведение человека, давали совет:

«Когда ешь, не спеши. Когда сел на коня, не задерживайся».

«Ветер дождь приносит, шутка — ссору».

«Красивы цветы весной».

Все хорошо в свое время».

«Вежливое слово полконя стоит».

«С родней ешь-пей, а торг не устраивай».

«Гулящего зверя не считай мясом».

«После времени пришедшую в голову мысль пусть ест собака».

Другие записи вселяли надежду, напоминали:

«Нет дров, которые не дымят, нет человека, который не ошибается».

«Всего леса топор не уничтожит».

«Всех мужчин война не возьмет».

«Каждый шаг прибавляет человеку частицу мудрости».

Кроме того, знали в народе, не все зависит от нас. Иногда не вредно спокойно подождать до завтра:

«Сколько зверей прошло через белую тайгу, никто не считал. Что будет впереди, никто не знает» (из народной песни).

А вот, на мой взгляд, лучшее напутствие писателю:

«Одно слово пять раз повторишь, гнильем запахнет».

· VI

Подобно многим другим моим знакомым — писателям и деятелям культуры малых народов, Софрон Сергеевич хорошо понимал неоднозначную роль шаманов в истории шорцев. Он считал справедливым, что с шаманизмом боролись как с одним из вреднейших предрассудков; но вместе с тем полагал: некоторые шаманы, как и народные певцы, сказители, были хранителями традиций. Они обладали большими знаниями в области народной медицины и потому нередко действительно помогали людям.

Думая об этом, Софрон Сергеевич начал писать свою повесть «Записки шамана». Что

сказать о ней? Там должно было быть пятьдесят глав, он успел набросать только пятнадцать. Действие происходит в двадцатые годы. Главный герой повести — болезненный и восприимчивый юноша, которого старый шаман вылечивает от эпилепсии, а потом начинает готовить себе на смену. Пожалуй, наиболее любопытны дневники юного шамана; они имеют и этнографическую ценность. Интересна сама психология молодого человека. Например, он удивляется, узнав о медицинском институте: разве может быть врачом каждый? Тут нужен талант.

Перечитываю эти страницы и все больше ощущаю их внутренний, глубоко драматический смысл. Ведь я рассказал о произведениях, которые были задуманы, но в большинстве своем не написаны.

Впрочем, сам Тотыш никогда не впадал в пессимизм. Он пошел провожать меня по вечернему лесу. Лес негромко шумел. Казалось, что это шум вечности. Вдруг Софрон Сергеевич резко повернулся ко мне. Спросил:

— Верите ли вы в жизнь, в ее конечную мудрость?

Сам он, разумеется, верил.

Петр Ворошилов

ВЫБОР ТАНИ ВАНДАКУРОВОЙ

Мама — она всегда мама. Села к столу, пригорюнилась, подперев голову руками, а сказала свое, мамино:

— Выбирай, доченька, сама. Тебе хорошо, и нам с отцом хорошо. Как-нибудь управимся.

А самой выбирать легко? Ей уже пятнадцать, понимает, что к чему. Папа, управляющий крупной совхозной фермой, на работе от света до света, домой приходит уставший — смотреть жалко, его скорее накормить и взбитую подушку ему под голову. Он считает, что в деревне надо жить по-деревенски, иметь свое хозяйство, чтобы не шастать по магазинам и столовым. Держат они корову с телятком, свинью с поросятами, овец, кроликов, кур. Цыплят вон опять полное решето. Огород распахали такой, что картошку за день никак не прополешь. Все домашнее хозяйство на маминых плечах. Обед приготовить, постирать, приберись в комнатах, две печи протопи. А ведь мама еще в школе работает... Домашние дела тому лишь не приметны, кто ими не занимается. А она у мамы главная помощница, даже на машинке простынки подрубать, наволочки шить научилась. Ну и заштопает что, если понадобится.

Артур не по всем предметам успевает. К машинам всяким братишку потянуло, около мастерских так волчком и крутится. Это-то и ладно. Но по русскому языку у него снова тройка с натяжкой. Виталька в первый класс пошел. Говорит еще шепеляво, а гонору — не подступишься, хоть и плохо, а все сам да сам. По весне оба вместо того, чтобы уроки повторить, так и целятся улизнуть на речку окуней ловить. Уньга-то рядом, можно сказать, мимо

крылечка течет. Еще затеяли какие-то блиндажи на пустыре рыть; заявятся домой — не отмоешь: хоть в котле вываривай.

С подружками до слез жалко расставаться. Восемь лет ведь все они рядышком да рядышком: и в школу, и в клуб бегали, одними куклами играли, поверяли друг дружке тайны сердечные, тому радовались, из-за этого в передники плакали. Так оно приросло, что отрывать больно. И он, о котором ни ему, ни подружкам, ни себе даже ничего пока не сказано, вроде почувствовал что-то недоброе, сторониться начал, хмуриться и злиться, на танцы вдруг перестал приходить.

До поселка Плотниково, где расположена знаменитая заринская школа, не так и далеко — всего-то восемь километров. Поднимись на бугор и видно ее — высокую, розовую, густо обставленную подростками тополями. Когда у заринцев гостила композитор Людмила Лядова, Таня бегала с девчонками на праздник посмотреть, музыку послушать. Вокруг школы тем разом тоже походили, поехали. У них-то в селе все не так, все маленькое да старенькое. Да и не в хоромах дело. Соседская Валя Кайдорина после десятилетки поехала в Кемерово поступать в политехнический институт на экономический факультет, а через неделю обратно вернулась. Ревмя ревела, рассказывая. Два экзамена очень хорошо сдала. На математике начисто срезалась. Попались ей вопросы из тех разделов, которые они в школе не проходили: математик в ту зиму долго болел, подменить его было некому, и учебную программу пришлось сокращать. Но для приемной комиссии

в институте это не довод, она от всех одинаковых знаний требует, а математику от будущих экономистов — в первую, значит, очередь.

Мальчишкам, как всегда, проще и легче. Заканчивают восемь классов и скопом поступают в сельхозтехникум. После отслужат свое в армии и в совхоз возвращаются с нужной профессией: тот — агроном, этот — зоотехник, остальные механизаторы широкого профиля. Дальше кто учиться надумает — пожалуйста, в институт его принимают на льготных условиях как совхозного стипендиата. Но ей-то надо в педагогический или в университет, она хочет быть учителем и только учителем. Девчонкам в таком случае никаких льгот и стипендий не полагается, изволь пятерки получать на конкурсных вступительных экзаменах. А если математик, который теперь еще и физик у них будет преподавать, опять надолго заболает?

Вот и выбирай... Недалеко до заринской школы, но ты уже там не дома, в школьном интернате будешь жить. Кто тебя рискнет в метельную погоду одну и на ночь глядя в голое поле пустить? Да и сама не пойдешь — страшно.

Сидит мама пригорюнившись, подперев голову руками. Тяжело маме: растила, растила себе помощницу, а она уже на сторону глядит. А у Тани перед глазами соседская Валя, плачущая навзрыд, и мама Валина, которая горько корила себя за то, что заступила дочке счастье.

Заринскую, одну из лучших сельских школ области, навещают часто. Приезжают люди за тем, чтобы изучить ее опыт, и просто любопытствующие. Вопросы задают, в общем-то, одни и те же. Отвечать на них — свое и чужое время терять. Поэтому директор школы Михаил Аверьянович Аверин подготовил своеобразную машинописную брошюру, размножил ее и разными там исходными данными вооружает посетителей загодя. Меня он тоже «вооружил» в обычном порядке. Хорошая брошюрка: с цифрами, с выводами умного, знающего, заинтересованного человека. Я ее

не на один раз перечитал. Особенно заинтересовал меня раздел о трудовых уроках школы. Здесь, в заринской школе, как в большой и дружной крестьянской семье, работа находится для каждого, причем такая работа, которую, кроме тебя, делать некому: первокласснику на цветочной грядке флоксы да настурции разводить, поскольку к машине подпускать его рано, ну а парням и девчатам из выпускников — в поле и на ферме пора осваиваться, примеряться, как принять на свои плечи совхоз.

Система трудового воспитания, не получив надлежащей материально-технической базы, довольно скоро во многих городских и сельских школах была низведена до положения профориентации, поставив перед собой облегченную задачу не обучать профессиональным навыкам, а при активной помощи шефствующих предприятий приучать, опять вприглядку, опять как-нибудь, хотя бы к пониманию смысла профессии. К заринским ребятам действительность оказалась более благосклонной. Школа имеет в своем распоряжении семьдесят гектаров земли и соответствующую технику, в том числе трактора, комбайны, прицепной инвентарь. Руководителем ученической полеводческой бригады стал главный агроном совхоза «Заря» Герой Социалистического Труда А. А. Бондарев.

Четыре колоска тритикале ребятам подарили работники селекционной станции. Вся засеянная деляночка — шаг вперед да два шага в сторону. А через три года совхоз начал получать с пришкольного участка семена новой для Сибири культуры уже для производственных нужд. Урожай тритикале до 100 центнеров с гектара. Это уже всерьез. Это уже может и научить, и увлечь. Опытное поле, особенно его овощные плантации, являются хорошим подспорьем для школьного стола. Реализация элитных семян позволяет пополнить школьный бюджет.

Однако главное, пожалуй, не в этом. Главное видится в той творческой одухотворенности труда, которая лучшим образом отвечает детской психологии. Проще простого отобрать уже испытанный и наиболее урожайный сорт помидоров да засадить весь участок. К тому

же и выгода, вроде бы, очевидная — центнеров будет больше. А здесь выращивают пятнадцать перспективных сортов. Ведется отбор, поиск, селекционная работа в полном ее объеме. И огурцы двенадцати сортов. Разбили сад у нового здания школы. Набор культур чисто сибирский — яблони, вишни, традиционные смородина, малина, крыжовник, облепиха. На первый взгляд, ничего особенного. Особенное открывается, когда начнешь с ребятами разговаривать. На каждое дерево, на каждый кустик у них составлена подробная родословная. Как растет? Чем болело? Как переносит заморозки, на какие удобрения хорошо отзывается?

Мы радуемся возможности сорвать яблоко с выращенной самим яблони. Тем более это для ребятни радостно. Но ведь есть еще иная радость, несравненная радость творца, создателя, умельца. В умении заронить в душу ребенка эти качества, в умении развить их, сделать чертой характера — суть педагогики трудового воспитания в заринской школе, ее осевая линия.

Конечно, к тому, что зафиксировано в брошюрке, Михаил Аверьянович мог немало добавить и на словах, он — один из создателей ученической производственной бригады, страстный энтузиаст трудового воспитания с первого до выпускного классов. Побывайте в заринской школе летом. Ее обширная территория буквально затопляется половодьем цветов, горит всеми оттенками радуги. А ведь сделано это самыми маленькими, сделано хорошо, умело, с радостью. Ребята постарше сами ремонтируют школьную мебель, изготавливают учебные пособия, планшеты для оформления кабинетов, хранилища для диафильмов. Любой шестиклассник умеет управляться со столярным инструментом, девочки без робости подходят к кухонной плите и швейной машинке. На базе заринского пришкольного участка не раз проводились областные семинары, опыт школы одобрен бюро обкома партии, она около двадцати раз была участником ВДНХ, 84 ученика, многие преподаватели награждены медалями этой выставки.

Одним словом, тут есть о чем поговорить. Но меня в заринскую школу привела другая забота. Я перед нашей встречей с Михаилом Аверьяновичем побывал в совхозе «Плотниковский», встречался там с семьей Тани Вандакуровой, с ее односельчанами, с преподавателями местной десятилетки и был полон довольно противоречивых впечатлений. Много и очень существенное удерживало Таню в родном селе. Нелегко ей было решиться после восьмого класса перейти учиться в заринскую школу. Но это одна сторона проблемы. Имеется и другая. Можно ли признать этот выбор правильным, оправданным? Прошедшие два года давали основание не для отвлеченных, а достаточно конкретных выводов.

Михаил Аверьянович Таню хорошо знает, успел к ней за два года присмотреться.

— Не отличница, — говорит он неторопливо, — а все равно умница. Душа у нее добрая, такая, знаете ли, певучая душа. Все с нашей малышкой возилась. Ходили за ней первоклашки, как на веревочку нанизанные. А выдумщица!.. Однажды такую сцену наблюдал. Подобрала на дорожке сухой и неказистый на вид сучок сосны. Брось в урну, как мусор, и шагай дальше. Тоже для той малышки наглядный урок чистоты и порядка. А она разговор завела. Как упало на землю летучее семечко, как из набежавшей тучки пролился на него дождик, как проклюнулось семечко деревцем. И пошло. Были в том разговоре и свирепые бураны сибирские, и морозы наши трескучие, и мужичок с дровеньками, который не срубил красу лесную, и маленькие мальчики и девочки, которые потушили злой лесной пожар. Это же о чем-то говорит? И с характером девочка. Лето нынче вон какое выдалось. Ягоды на косогорах — не выбрать. Грузди — слоем. Самое время после выпускных экзаменов погулять. А Таня поступила на подготовительные курсы Кемеровского университета. Надо думать, своего она добьется, будет учителем не только по образованию, но и по призванию, сельским учителем. Я лично готов ей дать любые рекомендации.

Но это еще не ответ, во всяком случае не

полный ответ на ту разногласицу мнений, которые бушуют вокруг сельской школы.

Бывает так... Где-то в отдаленной деревушке появляется умный педагог, бескорыстно преданный своей любимой биологии. Он днюет и ночует в школе, создает целевые кружки, обзаводится опытной делянкой на колхозном поле, находит среди ребят добровольных и любознательных помощников. С ними пахать и сеять, с ними на ферму, где не муляжи стоят, а живая дородная Ласточка — на весь район среди коров рекордсменка по удоям. И, глядишь, из неприметной той глубинки начинают приходить парни и девушки, которые уже в институте удивляют научный мир продуманностью своих суждений, обещают стать отличными специалистами сельского хозяйства...

Бывает и так, что лобастый крестьянский паренек начинает вдруг еще в пятом классе щелкать, как орехи, разные там заумные уравнения и формулы. Его тоже обязательно заметят, найдут через четко отлаженную систему школьных олимпиад, проводимых под наблюдением Сибирского отделения Академии Наук СССР и, разумеется, в нужный момент поставят пред ясные профессорские очи, сделают все, чтобы помочь таланту развернуться в полную свою силу.

Так, может быть, у нас и нет причин для беспокойства? В конце концов, учебная программа для всех единая, учебники одни и те же, преподавательские кадры имеют равную теоретическую и практическую подготовку. Да и реформа среднего образования в нашей стране в полной мере охватывает как городскую, так и сельскую школы. Возможности предоставляются равные. Дерзайте, используйте.

— Вернее сказать, равные предоставляются права, — возражает Михаил Аверьянович. — А возможности?.. Это довольно спорная проблема. Наши сегодняшние обязанности не исчерпываются поиском талантов. Сельская общеобразовательная школа, прежде всего, призвана дать ребятам знания, причем столь же разнообразные и полные, как и город-

ская. А эта задача не решается только энтузиазмом одиночек.

Михаил Аверьянович Аверин — участник Великой Отечественной войны. В освобождаемых от врага районах молодой офицер насматрелся на ребятишек с печальными и мудрыми глазами старичков, больных и измученных ребятишек, повидавших уже столько горя, сколько иному взрослому и представить невозможно. Насмотрелся на солдат, простых русских солдат, деливших в крестьянской, чудом сохранившейся землянке свой скудный походный паек на десяток голодных детских ртов, умевших, преодолевая усталость, взяться за топор и нарубить добрую поленницу дров, залатать прохудившуюся крышу. После демобилизации по ранению он работал в леспромхозе. Работа и здоровому мужику — до соленого пота, хотя валишь лесину, стоя по пояс в снегу, прикрытый лишь звездным небом. У леспромхоза был подшефный детский дом, и Аверину, комсоргу, приходилось чаще других бывать в нем, думать о том, чтобы все здесь были обуты, одеты, досыта накормлены, приходилось отвечать на такие вопросы, которые дети обычно задают родителям, утешать и уговаривать, вести в завтрашний день, в мир будущего. Вот тогда всей душой прикипел он к ребячьей доброте и доверчивости, понял, что он за судьбу этих ребят лично ответствен. В педагогическом институте учился заочно, урывками, но все-таки одолел его.

Уже опытным педагогом, приняв заринскую школу, Михаил Аверьянович выбрал время побывать на вступительных экзаменах в нескольких вузах Кемерова и Новокузнецка. Впечатление было удручающим. Его сельские, за редким исключением, явно уступали своим городским сверстникам в уровне общеобразовательной подготовки, в их знаниях вдруг обнаружились зияющие пробелы, а правильные ответы звучали робко и неуверенно. Даже поведение было каким-то приниженным; вроде бедных родственников на званом обеде. Конкурсный беспристрастный отбор абитуриентов явно и вполне объективно склонялся в пользу города, который шел впереди села на полтора-два балла. Многие его подо-

печные после первого же экзамена вынуждены были складывать чемоданы и отправляться домой попутными машинами.

Кто в этом виноват?

Михаил Аверьянович принял эту вину на себя.

Он стучался в разные двери. Побывал в областном отделе народного образования с проектом реорганизации сельской школы. Выступал на августовских учительских совещаниях. Разговаривал с директором совхоза В. И. Калиным. Его всюду правильно понимали, выражали сочувствие, разделяли его тревогу, обещали помочь. Но потом оказывалось, что в распоряжении облоно нет опытных учителей, которые горели бы желанием переехать работать в отдаленное село, что совхоз не располагает пока необходимыми средствами для строительства нового здания школы, что надо еще обождать, а для сельских ребят при поступлении в институты установить различные льготы.

По собственной инициативе и своим коштом он направился решать школьные дела в Министерство сельского хозяйства РСФСР. Переговоры и здесь были трудными, малообещающими. Под голые идеи, пока еще не проверенные и ничем не подкрепленные, он требовал реальные финансовые и материальные ресурсы для строительства и последующего оборудования школы, те самые ресурсы, которых не хватало министерству для дальнейшего развития производственного сектора в сибирских хозяйствах. К тому же обращался этот настойчивый директор, вроде бы, не по тому адресу: обучением ребят-шек занимается все-таки другое ведомство, с него и спрос. Но сами идеи были не лишены привлекательности, их реализация обещала четко сориентировать процесс обучения в направлении подготовки молодых, особенно нужных селу кадров. И министерство решилось открыть финансирование строительства непрофильного для себя объекта в совхозе «Заря».

Не будем вспоминать трудности становления заринской школы. Они, разумеется, были. Для их преодоления потребовалось немало сил, времени и настойчивости. Но все это

в значительной мере уже позади. Новая, отвечающая современным требованиям, школа построена. В ней обучаются 520 ребят из ближайших трех районов. Свыше ста из них живут в местном интернате. Образован сплоченный коллектив преподавателей-единомышленников, достаточно опытных и отлично профессионально подготовленных. 22 педагога заринской награждены значками «Отличник народного образования РСФСР», трем присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР», 11 удостоены высоких правительственных наград, М. А. Аверин награжден орденом Ленина.

Школа располагает первоклассными техническими средствами обучения, включая киноаппараты, кодоскопы, телевизоры, магнитофоны, установкой «Вега», лингафоны. Ее автокласс и класс машиноведения ни в чем не уступают мастерским специализированного обучения. Из 27 учебных кабинетов 26 паспортизировано. Приобретено и изготовлено самими учителями и учениками 102 тысячи экземпляров раздаточного и дидактического материала. Свой сад. Свой спортивный комплекс. Мощный радиоприемник позволяет поддерживать устойчивую связь с тысячами радиолюбителей в нашей стране и за рубежом. Все это не просто вещественные доказательства хорошо организованного педагогического процесса, это — овеществленные знания, которые помогают привнести в учебный процесс, кроме обычной познавательности, еще и элементы увлеченности и заинтересованности.

Михаил Аверьянович убежден, что только такая школа, только такой педагогический коллектив, только такая система обучения и воспитания могут и должны готовить для села образованные и высококвалифицированные кадры сельских специалистов и таких рабочих, которые без робости возьмут на себя управление новой техникой, поступающей на поля и фермы, будут смело внедрять в производство лучшие агроприемы и научные открытия. Эта убежденность основывается на конкретных фактах. Совхоз «Заря» уверенно идет по пути интенсификации производства. Из 11700 гектаров сельхозугодий под

пашню освоено около восьми тысяч гектаров. Урожайность полей непрерывно растет, приближаясь к тридцати центнерам зерновых на круг. Создано племенное стадо крупного рогатого скота. Надой на фуражную корову превысил три тысячи килограммов. Годовая сдача свинины составляет 3150 тонн. Еще один свиноплекс строится. В решении насущных задач Продовольственной программы совхоз участвует и тем, что его методы организации земледелия и животноводства широко используются во всей области.

А при чем тут школа? В общем балансе производственной сельскохозяйственной продукции ее опытное поле стоит отнюдь не на решающих позициях. Все так. Но продукцию-то производят люди. В совхозе работают 828 человек. Восемьдесят процентов из них, практически все, кому сегодня пока не исполнилось 40 лет, — бывшие ученики заринской. Ниточка напрямую тянется, школа с честью выполняет обязательства, которые когда-то директор взял на себя в Министерстве сельского хозяйства. Есть среди ее выпускников свои учителя и врачи, кандидаты наук и артисты, офицеры армии и флота. Свобода выбора жизненного пути сегодня определяется и уровнем образованности, а ребята с аттестатами зрелости заринской бедными родственниками в любом вузе себя не чувствуют, успешно выдерживают конкурсные экзамены. Таня Вандакурова об этом хорошо знала.

Значит, есть у нас достойный пример для подражания, бери за образец заринскую школу и по ее подобию создавай новые. Однако убежденность Михаила Аверьяновича разделяется и поддерживается далеко не везде и не всеми. Напротив, все более распространяется мнение, что десятилетки надо открывать на центральной усадьбе каждого совхоза и колхоза. Хоть маленькую, хоть старенькую, но свою.

Доводы? Доводы имеются, причем такие, что от них походка не отмахнешься. Спорить надо, убеждать, доказывать.

У подростка не только права, но **есть** и обязанности. Перед семьей, перед родным

селом, перед общественным полем, перед друзьями. Нельзя об этом забывать. Струны моральной ответственности — чуткие струны, для всех плохо, когда они звучат в фальшивой тональности вседозволенности.

Мой давний знакомый, председатель колхоза «Ударник полей» Иван Иванович Ясько, человек рассудительный, даже покладистый, когда зашла речь о школах-интернатах, резко отчеканил:

— Я бы того коршуна, который вознамерился из моих рук цыпленка выхватить...

Видите, как дело оборачивается. В народе говорят, что дом без детей пустой дом. А представьте себе село без его самых звонких голосов... Опять же чувство хозяина протестует. Как можно колхозу остаться без тех завтрашних работников, которым эту землю пахать, сеять, хлеб на ней растить? Но центральная усадьба «Ударника полей» расположена в крупном поселке Промышленная, где, помимо управленческих служб района и сельскохозяйственных мастерских, сосредоточена группа промышленных предприятий, строительные и транспортные организации. В местной школе этажей не меньше, чем в заринской. Обустроена она и ухожена ничуть не хуже. Колхоз не жалеет средств на обучение ребят, готов с ними и землей, и техникой поделиться.

Вспомните, как нелегко было сделать выбор Тане Вандакуровой. Другим разве легче? Обязательства иногда складываются так, что родители просто не могут отпустить на стору главную в семье помощницу, пока меньшие под ее надзором не подрастут.

Кто же прав? Иван Иванович Ясько, защищая своих ребят, под ружье готов встать, но не отпустить их до времени. А принять? Из соседних сел? Это — с открытой душой. Интернат построят, питание организует, на оборудование не поскупится. Колхозу-миллионеру все по силам.

Но такими возможностями обладают не все хозяйства. Открылась школа в Шуринке, в Лебедях, в Калинкино. Все — десятилетки. Учись, парень, — не ленись, набирайся ума. А чему научишься? Выглядят все эти школы по-деревенски убогими, размещены в кое-как

приспособленных помещениях. Их практически невозможно укомплектовать преподавательскими кадрами. Программа обучения одна и та же, а обучение разное — на целый порядок ниже. Биологию преподает, разумеется в свободное от работы время, главный агроном хозяйства. А откуда оно, свободное время, у агронома даже зимой, когда идет подготовка семян, а поля заправляются удобрениями? Машиноведению и физике обучает главный инженер. И тоже без отрыва от производства, того самого производства, которое усиленно насыщается сложнейшей техникой, требующей постоянного внимания. Географ выступает в роли историка, математик совмещает химию, преподавателя иностранных языков днем с огнем во всей округе не сыщешь.

Если рассуждать не формально? Если рассматривать возникшую проблему по существу? Может школа в Калинкино встать вровень с городской?

В родном селе Тани Вандакуровой в десятом классе нынче будет обучаться восемь ребят. Можно это назвать классом? Прикиньте затраты учительского труда и государственных средств на подготовку каждого выпускника, сопоставьте с ожидаемыми результатами.

Куда ни кинь — все клин. А может быть, мы излишне драматизируем сложившуюся обстановку? Заринскую школу не с одного сельского бугра видно. Из Калинкино до нее, как говорится, рукой подать. Еще совсем недавно это село входило в состав совхоза «Заря» на правах его отделения. Из Лебедей до Промышленной двенадцать километров. По гравийному тракту. Вся езда занимает полчаса

машинного времени, расход — пять литров бензина. Через день — попутные рейсы. Неужели это так трудно организовать? И помощница будет каждый вечер дома, и все подрастающие звонкоголосые кадры окажутся на глазах и под руками. О том, под чьим руководством и на чьей земле будут они заниматься опытничеством, тоже можно без лишнего шума договориться, свои люди — сочтемся.

Дорого возить? А неучей плодить дешево? На восемь десятиклассников иметь полный штат учителей дешево?

Думать надо, искать, пробовать. Жизнь убеждает, что в селе лучше, надежнее приживаются те молодые специалисты, которые здесь родились и выросли. У них меньше соблазнов ради городских удобств поступиться престижной профессией. Хорошо, что в области для сельских ребят установлены различные льготы при поступлении в институты. Требования поменьше, проходной балл пониже. Иначе при нынешнем положении дел, пожалуй, нельзя поступить, иначе выпускники Кемеровского института культуры почти в полном составе найдут предлог распределиться в Кемерово или Новокузнецк, хотя не укомплектованными работниками культуры у нас остаются именно сельские клубы и библиотеки. Но ведь льготами не заменишь знания. То, что упущено в школе, не всегда удастся наверстать в вузе. Трудно наверстывать.

Таня Вандакурова, как заметил Михаил Аверьянович, — девочка с характером, она свой выбор сделала. Но наступает время, когда свой выбор должна сделать и сельская школа.

Зинаида Карпенко,
доктор исторических наук

НАЧИНАЛОСЬ ТАК

Более шестидесяти лет прошло с тех пор, как наш народ, возглавляемый Ленинской Коммунистической партией, стал полноправным хозяином своей страны. А что рассказывают шахтеры-ветераны о том, как жилось и работалось при прежних хозяевах, о том, как боролись против них горняки до 1917 года?

Почетный шахтер И. Великосельский вспоминал, как начинал работу на Судженских копях Л. Михельсона: «Вместе с односельчанами несколько зим я приходил на шахту, мечтал о заработке. В 1904 году пришел совсем сюда, потому что отцовское хозяйство разорилось. Трудно было поступить на работу. Выпив немало водки, михельсоновский артельщик Ермолай Попов принял меня откатчиком. Мне нужно было за смену откатить 23 вагончика на расстояние 600 саженей, а в каждом вагончике по 35 пудов угля. Катили не по рельсам, а по деревянному настилу. Помню, целую неделю я откатывал только по 15—18 вагонов, и у меня все браковали, ни копейки не платили. Артельщик еще раньше предупреждал: «Если откатаешь хоть на вагон меньше, ни гроша не получишь». Вот я и катал бесплатно, все боялся, что выгонят... Потом поставили на проходку вентиляционной печи. Я должен был вынимать из нее уголь и выгребать на расстояние тридцати метров. Все это вручную. Измучаешься, вылезешь из шахты (тогда не клетью выезжали, а лезли ходком), а мыться нигде, бани нет. Грязные, намокшие, по морозу за несколько верст бегали домой!»

С горечью вспоминают старые шахтеры, как забойщики, согнувшись в низких забоях, отбивали уголь кайлой при слабом свете свечи или лампочки-коптилки «бог в помощь». Вентиляция была недостаточной. Работали в духоте — иногда из-за недостатка кислорода тухли лампочки. Спецодержды шахтерам не полагалось. Брезентовые шахтерки приобретали за свой счет. Масло для лампочек и свечи также покупали сами. Даже стоимость инструментов администрация высчитывала с шахтеров.

Часть заработка шахтеров присваивали артельщики, обсчитывая их или выдавая им вместо денег талоны на получение продуктов в местных лавках по повышенным ценам, за что получали комиссионные от лавочников. На угольных копиях официально запрещалась торговля вином. Казенных винных лавок на копиях не было, но артельщики и шинкари при попустительстве полиции спаивали шахтеров, продавая им водку дорожке казенной цены.

Жили шахтеры в бараках и в землянках. Ни больницами, ни школами население шахтерских поселков не обеспечивалось. Сыновья шахтеров, в лучшем случае, окончив одноклассную школу, а чаще не кончая никакой школы, шли работать на шахту. Ни школы, ни кино, ни театр, ни библиотеки, ни спорт не были доступны шахтерской молодежи. Неудивительно, что на копиях процветали пьянство, драки, поножовщина. Ни одна получка не обходилась без повального пьянства и драк. Ходили артель на артель, барак на барак. Во время побоищ выбивали в бараках окна и двери, увечили друг друга.

Лет двадцать-тридцать тому назад еще можно было встретить ветеранов-шахтеров, вспоминавших о первых маевках, о событиях 1905 года, о революционном подполье.

Почетный шахтер А. Веденяпин рассказывал о встрече анжерских и судженских шахтеров с С. М. Кировым первого мая 1905 года: «И вот в 1905 году мне довелось впервые быть на маевке. Незадолго до 1 мая ко мне пришел Михаил Пуганцев — наш шахтер из ссыльных — и сказал: «Передал Андрей Кузнецов, что 1 мая будем собираться в лесу за Алчедатом. Только ты об этом никому! Пойдем вместе. Приехал товарищ из Томска, он будет перед нами выступать». Это сообщение мне крепко засело в голову — все время думал о нем. Ждал того дня с большим нетерпением. Наконец он наступил. Нас собралось сначала человек пять. Пошли мы, конечно, не прямо к назначенному месту. Сперва махнули по направлению к деревне Лебедянка, а затем уже

свернули в лес и направились к месту. Здесь на тропах нас встречали люди, с которыми мы обменивались условными словами и уже затем проходили на поляну среди высоких лиственниц и мелкого березняка. Собралось много горяков. Вскоре мы все стояли большим кольцом и слушали выступления наших товарищей. Особенно хорошо запомнились слова одного из выступающих. Его называли товарищ Сергей: невысокий, крепкого телосложения с веселыми, смело смотрящими глазами. Через много лет после этого дня мы узнали, что перед нами тогда выступал Сергей Миронович Киров».

Анжеро-Судженские горняки в 1905—1906 годах участвовали в политических забастовках. По воспоминаниям коммунистов-шахтеров П. Г. Ирисова и Г. Г. Шикова готовила забастовку в сентябре 1906 года нелегальная большевистская группа. Расклеивали на улицах листовки. Созывали митинги, на которых шахтеры предъявляли требования к администрации. Полиция запретила давать гудки для созыва рабочих на митинг. Г. Г. Шиков рассказывал, к каким уловкам прибегали организаторы митингов, чтобы обойти этот запрет. «Мальчик Петр Савков пришел в котельную к кочегару Еремееву, принес ему обед в узелке. Полицейский, стоявший у котельной, беспрепятственно пропустил мальчика. Петр сунул кочегару записку, в которой было всего четыре слова: «Еремеев, допустите этого мальчугана». Кочегар моргнул мальчику, тот подлетел к котлам и начал контрпарить, подавая тревожные гудки. Когда в котельную вбежал полицейский, Еремеев закричал Пете: «Ты что делаешь?» Мальчик убежал, оставив вентиль открытым. Гудки продолжались пока Еремеев возился с якобы испортившимся вентиляем».

Первая народная революция 1905—1907 годов стала, по определению В. И. Ленина, «генеральной репетицией Октябрьской социалистической революции».

Революционная борьба не прекращается. Среди шахтеров складывается прослойка политически сознательных людей, имеющих опыт классовой борьбы, подпольной работы. В пе-

риод предвоенного революционного подъема они становятся первыми подписчиками «Правды», организаторами нелегальных рабочих кружков.

Старый коммунист Е. Д. Вдовин, работавший в 1913—1914 годах плотником на Кемеровском руднике, впоследствии сообщил автору этого очерка о десятинике плотников С. Ф. Галкине, распространявшем «Правду» среди шахтеров: «Галкин рассказал мне, что есть такая рабочая газета «Правда», и посоветовал выписать ее. Я бывал у него на квартире, смотрел «Правду», сам выписал эту газету. Галкин проводил сборы на газету «Правда». Один раз он пригласил меня с собой. Вечером мы пошли по поселку. Галкин заходил на квартиры к знакомым рабочим и беседовал с ними. Говорил, что полиция штрафует рабочую газету, внеси, сколько можешь, на уплату штрафов. Давали, кто 20 копеек, кто больше, кто меньше! Обошли домов с десяток, набрали два-три рубля. Галкин поручил мне отослать деньги в редакцию газеты «Правда». Он два раза поручал мне делать такие переводы».

Сам С. Ф. Галкин сообщал в своих воспоминаниях, как он создавал на Кемеровском руднике в 1912 году нелегальный рабочий кружок. С. Ф. Галкин, участвовавший в революционных событиях 1905 года на Дальнем Востоке, перебрался в Кузбасс, скрываясь от преследования полиции: «Имея уже небольшой опыт подпольной работы, я начал организовывать кружок молодых рабочих. К началу империалистической войны наш кружок насчитывал, считая и местных крестьян, 25 человек. Наиболее активные работники кружка были Вдовины — три брата, Шувалов, Хомутов, Вшивцев, Кожевников. Все эти товарищи сильно стремились узнать сущность борьбы, понять ее. К сожалению, не было революционной литературы, а «Правда» приходила с вырезками, нерегулярно, иногда отбиралась полицией».

Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, ускорила нарастание революционной ситуации, которая в феврале 1917 года привела к новой буржуазно-демократической революции, ставшей этапом на пути к Великой Октябрьской социалистической революции.

Юрий Галактионов,
кандидат исторических наук

ИСПАНСКИЕ КОНТРАСТЫ

В сознании каждого из нас живет свой образ Испании. Он складывается с детства от прочитанного «Дон Кихота», от увиденных потом на сцене или на экране пьес Лопе де Вега, от свидания в Эрмитаже с полотнами Веласкеса и Мурильо, от поэзии Лорки и Эрнандеса, от прекрасной Кармен, от «Фиесты» Хемингуэя.

Испания знакома каждому человеку, воспитанному русской культурой. Эта страна настолько увлекла в свое время А. С. Пушкина, что он, по словам его отца, «выучился по-испански в зрелом возрасте». И с тех пор Испания неразделима для нас с «Каменным гостем». В семье М. Ю. Лермонтова бытовало романтическое предание, что их род происходит от старинного испанского рода Лерма, что якобы один из представителей этого рода бежал в Англию, там его фамилия стала звучать как Лермонт, а затем он поступил на службу в Россию... Это предание вдохновило юного поэта на написание «Испанцев».

М. И. Глинка после поездки в Испанию создал знаменитую «Арагонскую хоту» и «Ночь в Мадриде». Широкой известностью в России пользовались «Письма об Испании» литератора и путешественника В. П. Боткина, который побывал в Испании в 1845 году. Испанская «тема» волновала А. Блока, для миллионов комсомольцев всех поколений Испания — это прежде всего «гранадская волесть» М. А. Светлова. А как ждали советские люди в 1936—1939 годах репортажей М. Е. Кольцова и других журналистов из Испании, охваченной огнем гражданской войны.

Наверное, случайно то, что только в двух странах Европы — Испании и России — колея железных дорог имеет одинаковую ширину, но в национальных характерах наших народов, в их судьбах много общего. Наши народы примерно в одно время боролись и освобождались от иноземного владычества: Россия от татаро-монгольского, Испания — от мавританского. Только русский и испанский народы не покорились наполеоновскому нашествию и поднялись на борьбу против захватчиков.

Постоянные торговые и дипломатические связи между нашими странами были установлены еще в Петровскую эпоху. Первый русский посол С. Д. Голицын приехал в Мадрид в 1722 году.

Однако получилось так, что об Испании, ее экономике и политике, ее культуре и людях в последние десятилетия мы знали меньше, чем, скажем, о Франции или об Италии. Ведь на протяжении 1932—1975 годов Испания находилась под властью фашистского диктатора Франко, за семью замками от окружающего мира. И вот в июле 1983 года нам, группе кузбасских туристов, предстояло на протяжении одиннадцати дней проехать от Мадрида до Малаги, через добрую половину, казалось бы, знакомой и в то же время незнакомой страны, увидеть своими глазами, какая же она, Испания, на самом деле, Испания сегодня?

В СЕРДЦЕ КАСТИЛИИ

Испанцы говорят, что Кастилия — сердце Испании, а Мадрид — сердце Кастилии. Четыре с небольшим часа беспосадочного переле-

та Москва — Мадрид, таможенные формальности в аэропорту Барахас, который всего в двенадцати километрах от центра, полчаса — и мы на Гран-Виа (большой, главной улице), которая, пожалуй, и есть самая главная и оживленная улица Мадрида. С нее началось, ей и закончилось наше знакомство с Испанией, поистине удивительной и неповторимой страной.

Гран-Виа, как и Пласа Майор (главная площадь), есть во всех испанских городах, но мадридская Гран-Виа — это прежде всего огромное количество банков, отели, магазины и еще раз банки, кинотеатры, лавки сувениров, множество кафе, баров, ресторанчиков и снова банки, представительства разного рода фирм и компаний. В зеркальных витринах Гран-Виа отражаются многие из проблем, которыми живет сегодняшняя Испания.

Эта неширокая улица удивительно тиха ранним утром, когда делают свое дело уборщики мусора да стучат каблуками первые служащие. К полудню Гран-Виа наполняется спешащими по своим делам мадридцами, пестрой толпой туристов, в самое жаркое послеобеденное время замирает, чтобы к вечеру наполниться такой густой толпой, через которую надо буквально проталкиваться. Людской поток не иссякает до самой глубокой ночи, Гран-Виа сияет огнями реклам, баров, дискотек, кинотеатров. Светло, как днем, но нет дневной жары, и мадридцы наслаждаются прохладой, прогуливаются, шелкая, совсем как у нас, семечки уже созревших под испанским небом подсолнухов.

Сидя за столиками кафе, вынесенными прямо на тротуар, мадридцы за чашечкой кофе, стаканчиком вина или бутылкой «фанты», оживленно жестикулируя, обсуждают свои дела или политику правительства. Политикой теперь интересуются буквально все. Запомнились лицо горничной в отеле, внимательно слушавшей по радио выпуск последних известий, разговор с шофером о политике Рейгана, мойщик посуды небольшого ресторанчика в засаленном фартуке с отнюдь не развлекательной газетой «АБЦ» в руках...

Большинство из испанцев, с кем довелось общаться во время поездки, уверено, что те-

перь, после победы социалистов на выборах, Испания пойдет по пути более ускоренных демократических преобразований.

Чего только и кого не увидишь на мадридских улицах. Вот на стене одного из банков наспех сделанная от руки надпись, призывающая ему не доверять. Вот какой-то человек назойливо сует в руки прохожих листовки, призывающие покупать только этот, а не другой товар. Пронзительными голосами кричат продавцы мороженого и билетов всевозможных лотерей. Обнявшись, идут влюбленные, неторопливо шествуют монахини, придирчиво вглядываются в лица полицейские, вооруженные метровыми дубинками и пистолетами. Людской поток равнодушно обтекает проституток, нищих, торговцев веерами, лоточников, продающих сигареты, зажигалки, жевательную резинку.

Мадрид разнолик, как и любая, впрочем, столица. Он похож и не похож на другие города. Праздничностью, нарядностью, многолюдьем, ритмом жизни центральных улиц он удивительно напомнил мне Белград. А строение линии улиц, отходящих в стороны от Гран-Виа и Алкала, показались похожими на улицы Васильевского острова в Ленинграде. Мадрид невысок: на всю столицу всего два здания по двадцать с небольшим этажей, а остальные дома — и старые и новые — по четыре-пять этажей.

Мадрид — политический центр Испании, здесь находятся резиденции короля Хуана Карлоса I, правительства, политических партий, здесь собираются на свои заседания кортесы — парламент. Столица Испании на протяжении почти трех лет была местом встречи участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Мадриде много музеев: Национальный археологический музей, Национальный музей современного искусства, Морской музей и др. Ряд музеев пользуется всемирной известностью и, конечно, прежде всего — Прадо — национальный музей живописи и скульптуры. Внешне он производит очень скромное впечатление: два этажа, всего 97 небольших залов... Но Прадо хранит работы выдающихся испанских художников, картины итальянских

мастеров эпохи Возрождения, а также полотна голландских, немецких и других художников. Всего в Прадо около трех тысяч уникальных произведений, и не я первый, не я последний, видимо, заявляю, что в Испанию можно было бы ехать, даже если бы там ничего не было, кроме Прадо.

Наша предусмотрительная экскурсовод Кармен привезла группу за полчаса до открытия музея, мы пришли первыми и могли наслаждаться тишиной и любоваться великими творениями Веласкеса, Сурбарана, Эль Греко, Гойи, Тициана, Рафаэля, Босха... Интересно происхождение названия музея Прадо. Он был открыт в 1819 году на тогдашней окраине Мадрида, месте прогулок мадридцев — «парадо». Теперь это центр испанской столицы. Но если уж быть совсем точным, то центр Мадрида — это треугольник, вершинами которого являются площади Пуэрта-дель-Соль, Пласа Майор и Пласа Эспанья.

Всего в Мадриде, который занимает 607 квадратных километров и насчитывает около 4 миллионов жителей, несколько сотен площадей с неизменными памятниками и фонтанами. Эти площади и придают Мадриду особый колорит и неповторимость. А памятники — преимущественно королям и полководцам, но вот в парке Ретиро стоит с конца XVIII века совершенно уникальный памятник дьяволу — никто не мог нам толком объяснить, как он появился в то время, когда в стране еще повсюду господствовала инквизиция.

Площади испанской столицы непохожи друг на друга, есть среди них величественные, есть и ничем не примечательные. Наиболее уютной и симпатичной показалась Пуэрта-дель-Соль (ворота солнца). Действительно, всегда солнечная, нарядная и в то же время очень непосредственная, она полна народу до глубокой ночи. Мадридцы ее очень любят, здесь в маленьком скверике стоит на задних лапах медведь, опершийся передними о земляничное дерево. Эта симпатичная скульптура — символ Мадрида. Если Мадрид — сердце Кастилии, то Пуэрта-дель-Соль — сердце Мадрида. От нее лучами расходятся десять улиц («все дороги ведут на Пуэрта-дель-Соль»),

здесь на тротуаре выбит контур страны, опоясанный полукругом с надписью: «О км, начало дорог во всех направлениях».

Мадрид отличается большим количеством бульваров и парков, утопает в зелени университетский городок, а вот на улицах деревьев мало, и днем город буквально задыхается от выхлопных газов почти двух миллионов легковых автомобилей и автобусов, которые являются основным видом общественного транспорта наряду с метро. Но если автобусы удобны и комфортабельны, то в метро нам, привыкшим к чистоте советского метро, заходить просто не захотелось, ибо из-за стеклянных дверей вырвался несвежий воздух, видны были грязь и мусор.

Но все-таки не это определяет лицо Мадрида. Столица Испании красива, как и большинство ее жителей, и им есть чем по праву гордиться. У Мадрида замечательное прошлое, причем это не только город-музей, но и центр всех революционных событий, которые происходили в Испании.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Они в Испании соседствуют, перекликаются, дополняют друг друга удивительным образом. Старина окружает повсюду, редко можно встретить город, который не имел бы тысячелетнюю историю, а Малага, к примеру, основана финикийцами еще в XI веке до нашей эры. Какие только завоеватели не прошли по здешней земле!

Мы видели акведуки и мосты, которые были построены еще древними римлянами и которые служат по сей день. Каменистые равнины Кастилии — это средневековые замки, крепостные укрепления, снова замки («Кастилия» и переводится как «страна замков») — их около полутора тысяч, в Испании существует специальное ведомство по охране и реставрации замков. Историческая область Новая Кастилия — это и Ла Манча славного идальго Дон Кихота.

Испанцы чтут память великого писателя, по всей стране много памятников М. де Сервантесу и его главным героям, но наиболее впечатляющ памятник в Мадриде на площади Испании. Изваянный из белого камня писатель

сидит в задумчивости в окружении героев своих произведений, а бронзовые идадьго и его оруженосец чуть впереди, на невысоком постаменте. Они отражаются в квадратике небольшого водоема, обрамленного травой и цветами. Когда по воде пробегает легкий ветерок, стоит только чуточку прищурить глаза, тогда на мгновение покажется, что Дон Кихот и Санчо Панса движутся; движутся сквозь века, к своему бессмертию.

Практически в каждом городе есть и памятник Х. Колумбу, а день открытия Америки — 12 октября — является теперь национальным праздником Испании (до смерти Франко национальным праздником было 18 июля — день начала фашистского мятежа в 1936 году).

Трудно было поверить, стоя на залитой солнцем и заполненной туристами Пласа Майор в Мадриде, что каких-нибудь двести лет назад на ее камнях пылали костры инквизиции и устраивались бои быков. А одна из прекрасных синьорит, глядя с балкона дома, выходящего окнами на площадь, вдохновила Ф. Гойю на создание своей «махи». Прошное вдруг властно напомнило о себе и в безмятежном парке Каса-дель-Кампо: когда со смотровой площадки я фотографировал панораму испанской столицы, защемило сердце, вспомнились строчки из «Испанского дневника» М. Кольцова, — именно здесь в 1936 году проходила линия обороны Мадрида.

Старина в Испании охраняется очень бережно. Прежде всего тут, конечно, уважение к своей истории, но играют роль и меркантильные соображения: ведь именно это хорошо сохраненное наследие прошлого и привлекает туристов. Туристы же — это валюта, а валюта очень нужна экономике, задыхающейся в тисках кризиса. В последнее время Испанию посещает ежегодно более 40 миллионов туристов (это больше, чем население страны!). Благодаря туристам существуют сотни отелей и пансионатов, имеют работу экскурсоводы, горничные, официанты, зарабатывают на хлеб искусные испанские ремесленники. Особенно поражает мастерство ювелиров Мадрида и Гранады, а также оружейников Толедо.

Толедо — город, с которым связал свою судьбу Доменико Теотокопули. Греческий художник, приехавший сюда в 1577 году, когда ему было 36 лет, был настолько очарован красотой Толедо, что остался в нем навсегда, получив прозвище Эль Греко. Он по праву считается выдающимся испанским художником, ибо в Толедо он создал свои лучшие произведения, здесь и умер в 1614 году. Нам посчастливилось побывать в доме-музее Эль Греко, полюбоваться его величайшими творениями. Однако впечатление смазывается многотысячной и многоязычной толпой туристов (в Толедо на 50 тысяч жителей приходится в иной день до 300 тысяч туристов!), которые подчас ведут себя бесцеремонно, пытаются войти в музей или собор, не выключив портативного магнитофона, не потушив сигареты...

В Испании очень многое напоминает о годах арабского владычества. Испанцы переняли все лучшее, что было у арабов, испанская культура в значительной мере впитала в себя арабскую. Жемчужиной арабского зодчества, несомненно, является Альгамбра (испанцы говорят «Аламбра» или вообще «Аламра»). Это величественный дворцовый комплекс, самая прекрасная часть средневековой Гранады. Строительство Альгамбры велось в XIII—XV веках, над ее стенами возвышается 21 башня, с каждой из которых связаны легенды и предания. Со стен Альгамбры открывается прекрасный вид на город, воспетый Ф. Гарсия Лоркой.

Одним из наиболее характерных и почитаемых памятников испанской старины после-арабского периода является Эскориал, дворец-монастырь, построенный в фантастически короткий срок (всего за 21 год) при его-то размерах. Это огромный параллелограмм размером 207 на 167 метров с четырьмя башнями по углам высотой 55 метров каждая. А над ними возвышаются еще две колокольни и церковный купол. Эскориал начал строиться в 1563 году во время правления Филиппа II. Ему все время чудились заговоры, и свой дворец он решил построить в 49 километрах от Мадрида, в горах Сьерра-Гвадаррама.

В записках путешественников и работах искусствоведов нередко утверждения, что

Эскориал воплощает мрачный, инквизиционный дух царствования Филиппа II. Мне он не показался ни мрачным, ни тем более злоеющим. Может быть, «виной» тому — яркий солнечный день, толпы туристов...

Особенно тесно в Испании переплетается новое и недавнее прошлое. Например, в Мадриде на проспекте Кастельяна в 1982 году был открыт монумент, олицетворяющий новую Испанию. А совсем рядом, на боковой улице стоит памятник бывшему диктатору. Правда, он без надписи на постаменте, но ошибиться невозможно — это бронзовый Франко восседает на лошади. Рядом на скамейках — какие-то старики и старушки, видимо, одержимые тоской по прошлому. Они злобно зашипели на нас, когда мы решили сфотографировать памятник, — ведь скоро снесут, наверное, и его; говорят, он последний теперь в Мадриде.

В пяти минутах ходьбы вверх по проспекту Кастельяна недавно установлен монумент в честь замечательного испанского художника-коммуниста П. Пикассо. Напротив — аллея из 24 деревьев, высаженных странами, футбольные команды которых в 1982 году оспаривали первенство мира. Первая в ряду — русская березка. И все это на небольшом пятачке: новое, что пришло в Испанию после смерти Франко, и старое, оставшееся от прежних порядков.

...И НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОРРИДЕ

Первые вопросы, которые задают вернувшимся из Испании друзья и знакомые, конечно же, о корриде: «Ну, что, был, видел, быка жалко?» и т. п. Да, был, счастлив тем, что видел и, знаете, не жалко. В наш век к восприятию корриды подготовлены более или менее все: кто не видел документальных фильмов, где показывают какие-то моменты поединка, или не читал книг Э. Хемингуэя? И что вообще можно сказать о корриде после него? Ведь Хемингуэй написал о корриде и ее участниках, пожалуй, лучше самих испанцев. Недаром ему, антифашисту, еще при жизни Франко был поставлен памятник в Памлоне, том городе, который описан в «Фиесте».

Поэтому здесь — только несколько впечат-

лений человека, впервые воочию увидевшего бой быков. Нашей группе повезло по нескольким причинам. Во-первых, потому, что мы смотрели корриду на самой главной арене страны — «пласа монументаль» в Мадриде. Во-вторых, очень приятно было сидеть на трибуне «сомбра» (в тени). Места на трибуне «соль» (освещенная солнцем) — самые дешевые, ибо высидеть пару часов, а то и больше на мадридском солнце не просто. В-третьих, мы видели поединки не с шестью быками, как обычно, а с семью. По требованию зрителей президент корриды дал знак заменить одного из быков, который показался испуганным в корриде испанцам непригодным для поединка (мы, честно признаться, особой разницы между быками не увидели). Заменить разъяренное животное весом около полутонны, которому уже нанес глубокую рану пикадор, далеко не просто, и мы стали свидетелями достаточно редкого зрелища: на арену было выпущено стадо коров и свирепый бык через несколько минут покорно, под улюлюканье зрителей ушел в загон.

И, наверное, в-четвертых, нам повезло потому, что выступали в тот вечер три не самых знаменитых матадора и они очень старались понравиться публике. Почти все быки были посвящены нам, зрителям, а матадоры откровенно рисковали жизнью, демонстрируя свое мастерство.

Первый же бык порвал одному из матадоров костюм и на поединок со следующим быком ему пришлось выйти в спортивных брюках. Другому, уронившему мулету, пришлось улепетывать с арены и пулей перелетать через деревянный барьер, отделяющий арену от трибун. Труд тореро нелегок и опасен, особенно это касается главного действующего лица корриды — матадора. Однако понравиться мадридской публике не просто, ни один из матадоров не заслужил «трофею» — уха или хвоста убитого быка. Но ни в одного из них не полетели и увесистые кожаные подушки, которые зрители берут напрокат перед началом корриды (сиденья на пласе де торос каменные и без спинок) и, бывает, швыряют в оскандалившегося матадора. Оскандалиться же совсем не трудно: по стро-

го соблюдаемым правилам бык должен быть убит на десятой минуте последнего этапа боя, на двенадцатой матадор предупреждается, а если бык не убит по истечении пятнадцати минут, матадор лишается права закончить бой и с позором изгоняется с арены...

А быка все-таки не жалко. Когда тореро работают искусно, зрелище поединка захватывает. Да и погибает животное не на бойне, не

от пули охотника. И быку, который показывает настоящие бойцовские качества, зрители нередко оставляют жизнь.

Величайший испанский поэт Ф. Гарсиа Лорка писал о корриде: «Что случилось бы с испанской весной, с нашей кровью и с нашим языком, если бы перестали звучать драматические кларнеты корриды?»

Александр Казаркин

ВЕЛИЧАНИЕ СИБИРИ

РУССКИЙ ПОКЛОН

Михаил Небогатов в десяти сборниках стихов остается верен теме земли, а она — и праздник жизни, и повседневный труд. Почти тридцать три года отделяют первый сборник стихов его от только что вышедшего. Поэт, сложившийся в конце пятидесятых, всем литературным формам предпочитает одну — лирический эскиз, зарисовку с натуры. Миниатюра эта схватывает споминутное состояние, но за ним — ощущение лег, текучести бытия. Главным и наиболее ценным в этой лирике мне видится неподдельное чувство красоты, священнодействия жизни. Наверно, это война научила поэта «ценить, как тот глоток из фляжки, судьбой отпущенный нам срок». От этого некоторая созерцательность, пожалуй, даже умиленность отношения к миру, но от этого же родственного душевного влечения к земле и умение многое увидеть даже на поверхности жизни.

Свою поэтическую перу он выразил в стихотворении 1965 года: «Не удивлять, а удивляться...».

*Чтоб в серебре метельной пыли
И в звоне вешнего ручья
Вы так же крепко полюбили
Наш краткий праздник бытия.*

Еще в середине сороковых поэт одним из первых печатал стихи в новой тогда областной газете «Кузбасс» — сама область была еще новая. А родом поэт из Гурьевска, того самого, где начиналась металлургия Сибири и который был известен двести лет назад серебряным литьем и кандалной ковкой. Образ земли у Небогатова и создавался через дедовский завет: «С родной земли — умри, не сходи».

В первых сборниках немало «репортерских» стихов — торопливых, митинговых. Тут нет осуждения: требовался чертённый хлеб правды, страна была обескровлена страшной войной. Святые в своей прямоте, люди военного времени кажутся новым поколениям простодушными и наивными. Главное было найдено М. Небогатовым тогда — в начале пятидеся-

тых. И свойственная тому времени «фотографическая установка», восхищенье наивного реалиста:

*Гляди-ка, сколько сделал строк!
С натуры все. Пока — наброски,
Так. Разговор с самим собой.
Но штрих живой, пускай неброский,
Дороже выдумки любой.*

Тут была и патетика, зрелому стиху Небогатова совершенно чуждая, и обязательная для тех уже далеких лет глобальность тем и масштабов обзора. Но кто сказал, что газета — недруг для поэтов? Нет, она не только школа скорписи, она начинающих ближе сводит с жизнью, она же и курс стиливой экономии, емкого слова. Ведь не сами собой рождались и тогда мастерски ограниченные миниатюры:

*Ты помнишь вечер в ноябре?
Как был он ярко!
Весь в снежных искрах, в серебре,
Весь — как подарок...*

*...От многих пройденных уже
Дорог, тропинок
Остался песнею в душе
Полет снежинок.*

Это исподволь прорезался собственный голос поэта — дорожащего оттенками цветов, голосами природы, живущего безмерной полнотой краткого мига жизни.

Тема войны вошла в стихи Небогатова не сразу — уже как дальняя память. Она зазвучала вдруг так же, как у Твардовского, чувством вины перед погибшими, неотделимом от чувства правоты перед веком: «И все-таки порой мы беспокойны, Как некий груз вопрос в душе несем: Всегда ли мы их памяти достойны? А может, не всегда и не во всем?..»

«Будет славить жизнь моя строка» — это поэт сказал в начале шестидесятых. Стихи стали внешне неброскими, но примечательны они просветленным жизнелюбием, душевной уравновешенностью, наглядностью реалий времени. Манера устоялась, стих нашел свои бе-

рега, и зрелый метод Небогатова выражен названием одного стихотворения — «Сердце видит».

Сделать привычное — обновленным, милое сердцу — еще более родным. О проселках, речках, полях Сибири эти стихи, о людях, слитых с природой делом, о любви. Жизнь природы, вечный источник русской поэзии, диктует тему большинства стихов Небогатова. «Заключить ягуду жизни в сосуд вечности», добиться прозрачной, но прочной стихотворной формы, убедить читателя во всесильности жизни — вот пафос сборников М. Небогатова «Свет в окне», «Спасибо сентябрю», «Земной поклон». Здесь лучшие его стихи, поистине мозаичная картина праздника жизни. «Праздничная русская работа» — сенокос, праздник лесных полей, месяц травень — июнь, праздник природы — ливень, праздник молодости — влюбленность.

*Как хорошо, как радостно до боли
Жить ощущением праздничным одним:
Неугасимо клеверное поле
С теплом лучей и с радугой над ним.*

Чувство бытия как блага, а отсюда — поэзия как благоговение и благодарность миру. Земной поклон поэт отдает матери, родному краю, подруге — спутнице жизни, Сибири.

*Всем землякам, сибирякам,
Кто работаю, умен, силен
И кто заслон любым врагам —
Земной поклон.*

Мир, увиденный М. Небогатовым, статичен. Пожалуй, это от определенности, стабильности характера лирического героя. Ему дорог устойчивый миропорядок, все выверенное жизнью, временем. В наш век «небывалых гипербола» это ведь так понятно. Но порой достигается такая уравновешенность ценой отворачивания от кипучей, бурной стороны современной жизни. И тут еще вопрос: что же есть основная реальность — стабильное или переменчивое? Может быть, за гранью поэтического мира остаются существенные черты мира «всамделишного»? Впрочем, поэт, и великий и малый, говорит на том языке, какой ему доступен, и о том, что знает. Самая большая неблагодарность — требовать от него ломки собственного голоса.

Речь не о том, чтобы привнести в стихи постороннюю им пряность, остроту. Совершенно согласен с автором: «Есть видимость цветения, а поглядишь на свет, красивое растение — обычный пустицвет. Есть видимость поэзии, но острый вкус, как нож, разрежет строчки резвые — и в них проступит ложь». Вот уж ложного пафоса в стихах Небогатова

нет. Уважения достойно и то, что поэт не гоняется за стихотворной модой, за шумным успехом. Поэт, как видно, осознает границы собственного дарования и не берется за чужие темы. Но оборотная сторона этого достоинства — лирика эта лишена эксперимента, творческого риска, она надолго прописалась, было время, в той полосе поэзии, где корифеем считался Ст. Шипачев, а думы героев отличались сугубой строгостью и благоустностью. Поэт не хочет расставаться с заветами своей творческой юности. Где-то в подтексте создается впечатление повторения и повторяемости жизни. Впрочем, не заложено ли это в самом жанре, избранном им?

Дотошный читатель нет-нет да и спросит себя: а так ли прост и непротиворечив этот мир? Или, скажет он, жизнь так далеко ушла вперед с тех пор, как были написаны эти стихи? Что ж, пусть себе думает, на то и стихи. Но вот что должен понять читатель: «идеальный» тон для этой лирики совершенно необходим, ведь почти вся она — о родине.

Это «дельное», народное понимание творчества. Кажется, поэт как будто идет порой наощупь. Но это не от недостатка фантазии или несмелости. Ему дорог мир вещный, реальный. И уж если страшится он чего-то, так это — принять видимость за суть, подменить подлинную жизнь литературными ассоциациями.

А потому:

*Чем лучше вещь, изделие, творенье,
Тем незаметней главное всегда:
Какое в это вложено уменье,
Какого это стоило труда.*

Позиция не новая, конечно. Но поэт последователен в этом однажды выбранном направлении. Литературные веяния, споры и перегибы его не коснулись. А ведь каких только программ не высказывалось за годы творческого роста Небогатова! «Поэзия должна быть песенной!» «Нет, ораторской!» «Нет, философской!» Поэзия должна быть всем. Потому что единственно, чем она обязана быть, — жизнью. В этом стихах Михаила Небогатова не откажешь.

...Уже не рядом молодость, ушли многие друзья. Память листает страницы жизни к началу. Жизнь менялась, кажется, медленно, но в масштабе одной человеческой судьбы — поразительно быстро. Менялись не только города, менялись люди. Оставалось одно — «нестареющая, вечная красота земли родной». Впрочем... откуда ж тогда взялись «Осенние думы»? Благополучно ли все обстоит и с нею — с красотой земли? Жаль, что поэт обошел этот первостатейный важности мотив, картину нанесенного природе ущерба, но чувство это есть где-то на втором, отдаленном плане.

*Большая радость — пронести
Сквозь все заботы и тревоги
Любовь к отцовскому пути,
К простой проселочной дороге...*

*Не знали деды и отцы
Про мостовые и панели...
Зимой звенели бубенцы,
А кандалы весь год звенели...*

*Здесь был проселкам поворот,
И мы просторы увидели.
Отсюда ввысь и вдаль, вперед
Пошли все наши магистрали.*

Река времени быстра, но все ведь зависит от умения захватить пролетающий миг. И тогда капельки бытия бездонны. Подлинное постигается лишь подлинностью жизни. Так видится мне пафос стихов Небогатова.

ПЕСЕННАЯ РОДОСЛОВНАЯ

«Слагаю песню — нет завидней доли»; «Встречайте вы меня по песням» — так предлагает нам поэт, так он сам себя рекомендовал читателям уже лет пятнадцать назад. Прислушаемся же к этой просьбе: песенный ключ — вот что предложил автор для понимания сотворенного им мира. Книга «Зазимок», по большей части, — то ищичальная, то грустно-раздумчивая песня России. А временами это исповедь, рассказ о родословии поэта.

Не потому ли в мир стихов Баянова входишь, как в хорошо знакомое село? Оно из тех, что стоят наособищу, хотя и похоже на другие русские села. Удлинительно, что они еще есть. Кажется, весь мир подчинили себе магнитофон и эстрадная песенка, а тут вечерами услышишь вдруг частушку, а то и протяжную песню о судьбе-доле, тут еще живет наше национальное достояние.

Одно усилие памяти — и оказывается: песенный мир Сибири не забыт, широк, самобытен. И главное — совсем не сторонится современности. Он современен там, где поэт беззащитно-исповедально говорит о святом чувстве родной земли и о простых человеческих отношениях.

Распев этих стихов ни с чем не спутаешь, песенно-частушечный склад сам за себя скажет. Тут не приходится долго размышлять об истоках, о традиции: «Девчата — одни, в глазах огни... статные, ладные, до любви жадные». Порой поэт, кажется, сознательно бросает вызов частушке, и в этом непосильном поединке голос его находит новый простор: «И черемуха за пасекой Поет на склоне дня. У черемухи за пазухой Сто песен для меня. Будто сказочная дева Сердцу близкие слова Выпускает то из лева, То из права рукава. Что

это народное слово, видно, пожалуй, каждому, но мало того — склад ума, сам вкус жизни — все это от почвы, вынесено из недр народной жизни.

Не поздно ли явился такой поэт? Ведь многим просвещенным любителям поэзии сейчас кажется, что исконно народное слово отжило свой век, прошли его сроки. А оно вот явилось, причем там, где его не ждали. Впрочем, почему ж не ждали? Кузбасс — ядро Сибири, а Сибирь сейчас — первый хранитель русского песенного фольклора.

*Сибирь на песни не скупая,
И я в себе их не таю.
Я их втридорога скупаю,
Потом задаром раздаю.*

Путь Виктора Баянова был не от книги к народному слову, как у многих поэтов-современников, а как раз наоборот: к поэзии из недр песенной памяти народа. Об этом говорит книга «Зазимок»: ни малейшего следа намеренных усилий настройки, стилизации, подражания даже в первых стихах. Поэт говорил тем языком, какой слышал с детства, явился вдруг и сразу, без поры ученичества. Это — о своем, сокровенном, и потому в сказочных картинках его была полная достоверность чувства. А как еще скажешь о чудодейственной силе росы, возвращающей молодость, о полянке-самобранке, помогавшей поэту выжить в голодные годы войны, о земляничкой крашенных холмах, о рябиновом свете, о дорожной ленте, обернувшейся народной долей, русской историей? И как было сразу не заметить колорит — впечатление «очень близкого чего-то, очень местного, сердцу только одному известного», «по цене одной лишь жизни равного»?

Величание Сибири, сыновний поклон ей. Созданное Виктором Баяновым осмысливается, становится классикой советской поэзии Сибири. Но любит поэт не буреломную глухомань, а «домашнюю» Сибирь. В ее изображении, в характере сибиряка нет никакой экзотики. Она ведь появляется как взгляд со стороны, как диловинка, невидаль, а здесь все увидено изнутри, голос ее самой и ее песни о себе.

Настоящий поэт узнается по живому чувству малой родины. Если нет этого, — нет пульса своего родника, нет леска или гривы, о которых помнится всегда, — нет и образа большой родины, как бы ни тужился сочинитель и как бы ни сыпала ему комплименты критика. Судьба и опыт многих и многих стихотворцев, если стихи закрыты от голосов и запахов родной земли, это верный признак их беспочвенности, сделанности, а не первородности. Лирика Баянова тем и замечательна — в ней живет и светит неподдельное чувство его ро-

дины: села, Сибири и большой России. Чувство на редкость простое и неподделное, так что на фоне изощренной стиховой культуры кажется кое-кому архаичным. Но разве можно модернизировать чувство природы и родины? Природа Сибири и история России — обе эти ведущие темы воплотились без аффектов, без броских красок. Но чувствуешь «стихийное мастерство» — врожденное чувство меры. Законченность есть уже в стихах начала шестидесятых годов.

Не странно ли: поэт пришел как будто сложившимся, хотя никакой литературной школы за ним не было, вырос в стороне от литературных диспутов и шумных собраний. Откуда взялась эта добротность стиха, столь редкая, если не сказать — уникальная в наши дни у самоучки? Жизнь природы и народное слово — его школа. И родословие, и школа, и мастерская. Выбирать направление начинающему поэту не пришлось. И «книга жизни» Баянова почти однотемна. Хорошо это или плохо, задаюсь я вопросом, что, вступив в литературу четверть века назад и сразу выбрав путь, поэт верен ему раз и навсегда? Вопрос, наверно, надо ставить не так: могло или не могло быть иначе? Поэты намеренно делают себе биографию, ездят из конца в конец страны, ищут то темы, то стиль, то самих себя. Виктор Баянов живет с завидной душевной оседлостью. Тематически все его стихи исходят из первой книги — как круги на воде, это захват виришь. Новаторства любой ценой он не ищет. И адресат этих стихов очевиден, их читатель любит подлинное, первородное, ставит выше сотворенного, его убеждение выразил еще герой Твардовского: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке».

Такие стихи нельзя читать громким голосом, в эстрадной интерпретации они, пожалуй, даже проигрывают. Да поэт и вообще-то избегает восклицательных знаков. Сибиряка узнаешь не по словам: «я сибиряк!» — кричать совсем не надо, а надо просто быть сибиряком. Просто ли им быть — об этом стихи о военном детстве, об этом же и самые крупные вещи, вошедшие в книгу: «На родине», «Машинист Иван Петрович», «Какой земле принадлежим», венок сонетов «Поле».

Бесспорно, что Виктор Баянов прежде всего лирик. Лучшие его вещи — в песенно-исповедальной тональности. Память детства, значальные годовые кольца, оставшиеся в глубине души — вот что питает эту лирику. Память, мифология детства — странное это виденье мира свойственно немногим людям в зрелости. Там, в центре поэтической вселенной, стоит изба. Стоит в окруженьи живой, говорящей природы, недалеко от торных и старых дорог, которыми шла Русь на восток и на запад. Этот мир рождал песенный отклик:

*Песня тянется сильно,
От раздолья хмельна,
Молодой, как Россия,
И стара, как она...*

Теперь всех поэтов критика рассортировала на городских и деревенских. Ни туда, ни сюда Баянова без остатка не поместишь. Это и хорошо: настоящая поэзия никогда не укладывалась в придуманные рубрики, а была всем сразу — жизнью и песней о ней. Сказать, что Виктор Баянов — поэт Сибири, тоже будет узко и неверно. Да, сибирской топографии у него немало. Приметы родного узнаем мы во многих ранних и зрелых стихах: «Салаир — горы с дымкой и с лающим эхом», гул бора и речек Горной Шории, поля и леса... Но настоящему широко его поэзия разливается, когда выходит за просторы сибирской темы. Зрелые стихи Баянова — о большом пространстве русской истории: «Бородино», «У Ильмень-озера», «Баллада о новгородском колоколе».

Об этом — тоже доверительным голосом, это — родное, колыбельное, с ним надо родиться. Такой стих не ищет быстрого успеха. «Не лгу, не лгу ни словом, ни строкой», — клянется поэт полю. Это осознанная жизненная и литературная позиция. Она выбрана, дана изначально: «Будет путь большой иль краткий, Тяжкой, легкой ли ходьба, Оглянусь с тропы негладой — Пусть останется загадкой Эта русская изба». Можно было ожидать, что такая лирика станет созерцательной, а значит — холодной. Нет, не стала. Красоты для поэта не меньше и в человеческом труде. Знают ли, что он никогда не сторонился злободневности. Правда, драматических возгласов никогда не было в этой лирике. Герой Баянова живет природным ритмом и, хоть и сетует порой на исцудержимое время, но любит и принимает все бытие. Но мир детства и природы, безусловно, — главный душевный капитал его.

Виктор Баянов из числа лучших лириков того поколения, чья ранняя пора затемнена войной. Трудная юность наделила их активной добротой. Наш земляк говорит от лица того поколения, при котором Сибирь невиданно преобразилась. Этого героя когда-то называли чалдоном-молчуном. Но вот оказалось — вся гамма чувств, все оттенки красок ему доступны.

В теме природы — современной из современных тем, ибо в ней теперь пересеклись и откликаются все общественные темы, — Виктор Баянов чувствует себя свободным и уверенным. По тональности ранние стихи о природе идилличны, лишены видимого конфликта. В последнее время появилась тревога, беспокойное раздумье. Прежняя сказочность ушла или отсту-

пила на второй план. Природа была гасителем тревоги, местом очищения человека, возврата его к самому себе, собственным корням, но вот произошло необратимое изменение в ней. И нельзя уже вдохновляться красотой природы, не слыша ее стона. Странен был бы сейчас лирик-пейзажист, поющий столь же неподдельно радостно, как и во время Фета. Нового Баянова мы видим в самом конце книги, это стихи конца семидесятых — начала восьмидесятых. Горестные признания, чувство вины перед землей. Как редко теперь мы о ней слышим, у поэтов слишком лобовой подход к теме технической революции. Поэт, чувствовавший свою неотделимость «от этой росной, от русской утренней земли», теперь настроен иначе, хотя землю чувствует по-прежнему остро:

*Бреду под тучею-навесом
Промокий пахотой и мглой.
И все слабее тянет лесом,
Все явственней сырой землей.*

Эту новую тональность подчеркивает и название книги.

Но слово, из песни вышедшее, в песню все-таки возвращается. Есть же песни исповедальные, им еще важнее неподдельность чувства. И мы понимаем в конце книги: вовсе не о так называемых вечных вопросах она, а о равновесии нового и жизненно важного старого. Как не мог поэт не состояться, так и опасность потерять свое лицо ему никогда не грозила. Понимаем мы также и то, как нелегко поэту-самородку, певцу русской самобытности сохранить непосредственность голоса. На этом срывались очень большие певцы.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Состоялся семинар молодых литераторов Кузбасса, организованный Кемеровским отделением Союза писателей РСФСР и обкомом комсомола на базе литературной студии «Притомье».

В секции поэзии (руководитель Валентин Махалов) работа началась с обсуждения поэмы «Сибирская легенда» Валерия Ковшова, автора сборника стихов «Свет внезапный», изданного в 1983 году Кемеровским книжным издательством. В творчестве Валерия явственно проступает эпическое начало — черта довольно редкая у молодых поэтов. Поэма — о революции, гражданской войне, классовой борьбе в сибирской деревне. Отмечена образность, колоритность поэмы; похвально и само стремление Валерия Ковшова запечатлеть память народную. Но говорилось и о некоторой разрозненности картин, об отсутствии в поэме единого сюжетного стержня.

Стихи Виктора Коврижных (молодой рабочий из Белова, он совсем недавно стал сотрудником городской газеты) были очень высоко оценены на предыдущем семинаре, который состоялся год назад. За это время Виктором написано немало новых удачных стихов. Но не только похвалу услышал он в свой

адрес. К сожалению, иногда Виктор стал сам повторяться, идти не вглубь, а вширь. Впрочем, это естественная болезнь роста, а то, что Виктор Коврижных растет творчески, — несомненно.

Журналист из Прокопьевска Владимир Беляев еще очень молод — ему двадцать с небольшим лет. Но стихи его отличаются завидной зрелостью. Их недостатки — некоторая холодность, «сделанность», преобладание рационального начала.

Очень интересным было обсуждение рукописи художника из Осинников Александра Глазырина. Яркие, броские, метафоричные и афористичные, они идут в русле той поэзии, которую принято называть эстрадной. В последнее время подобная поэзия, совсем было оттесненная «тихой лирикой», заметно оживилась. При всех своих несомненных достоинствах, стихи Глазырина порой несколько эклектичны, многословны. Но после тщательного отбора из его рукописи может получиться неплохая книжка — таково было мнение руководителей секции.

Любопытной оказалась и рукопись очень молодого автора из Белова Владимира Щелканова, которая обсуждалась на семинаре во

внеплановом порядке. Стихи Владимира — напористые, пусть и несколько сумбурные, — говорят о том, что в Кузбассе подрастает интересная поэтическая смена.

Не менее живо проходили обсуждения в секции прозы (руководитель Владимир Куропатов). Жанр, в котором работает аспирант-биолог из Кемерова Дюсен Есмагамбетов, довольно трудно определить. Это что-то среднее между миниатюрой, притчей, сказкой, нередко окрашенное в сатирические тона. Находки чаще всего поджидают Дюсена, когда он обращается к национальному фольклору. Об этом свидетельствует миниатюра «Белая рубашка», которая была рекомендована к публикации в альманахе «Огни Кузбасса».

Стихия сатиры и юмора господствует и в рассказах рабочего из Юрги Эдуарда Шопорева. Несмотря на то, что повесть Шопорева (первая, написанная им), была подвергнута довольно острой критике, выступившие сошлись на том, что повесть свидетельствует о творческом росте Эдуарда.

Но «гвоздем» семинара был роман «Ангел над городом», написанный артистом Кемеровской консерватории Юрием Моренисом. Это действительно роман — объемное повествование с широким охватом действительности, с пересечением нескольких сюжетных линий. Все единодушно отметили свежий, живой язык автора, его умение заинтересовать читателя. Было высказано и немало критических замеча-

ний, которые, по словам Юрия, будут вдохновлять его в дальнейшей работе над романом.

Валерий Костин, юрист по профессии, работает в жанре детектива. Характерно, что острый сюжет нужен ему не сам по себе, а лишь как средство наиболее полного раскрытия психологии героя. Был отмечен довольно богатый и разнообразный язык его рассказов. Один из них будет напечатан в коллективном сборнике, который выйдет в 1985 году. Но для достижения настоящего мастерства Валерию, конечно, надо еще очень много работать.

В центре повести Александра Савченко (Новокузнецк) — судьба простой женщины, вынесшей на своих плечах тяготы военного и послевоенного времени. Повесть трогает достоверностью, простотой, искренностью и при некоторой доработке должна найти путь к читателю.

Три дня продолжался этот серьезный, нелицеприятный и плодотворный разговор.

— Повышается не только профессиональный уровень рукописей, представляемых на семинар, но и уровень обсуждения этих рукописей, — делится своими впечатлениями Валентин Махалов. — Замечания рядовых участников были настолько точными и дельными, что часто руководителям семинара было попросту нечего прибавить к уже высказанным оценкам.

Наш корр.

ЖИВОЕ СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

В начале 1985 года при Кемеровской писательской организации стало работать бюро пропаганды художественной литературы.

— Живое слово писателей, их непосредственное общение с широкой читательской аудиторией является наиболее доступной и действенной формой пропаганды художественного творчества, активного воздействия на сознание читателей, — говорит заведующий бюро прозаик Владимир Коньков.

«Испытанным средством партийного влияния на массы является устная пропаганда,

Необходимо шире использовать ее возможности для живого, доверительного общения с людьми, открытого разговора о волнующих их вопросах».

Эти слова из Постановления Пленума ЦК КПСС «Актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии» стали основополагающими в работе писателей.

Начали с того, что разработали, утвердили на бюро писательской организации и выпустили отдельной брошюрой тематический план писательских выступлений. Литераторы не

только читают свои произведения, но и проводят беседы на темы, каким-то образом связанные с их творческими устремлениями. Например, тема выступлений Геннадия Емельянова — «История промышленного Кузбасса в литературе», «Современный очерк о рабочем классе», Владимира Куропатова — «Нравственные традиции в преемственности поколений», Валентина Махалова — «Жизнь и творчество поэта Василия Федорова», Петра Ворошилова — «НТР и нравственные проблемы», Виль Рудина — «Образ чекиста в современной литературе».

«Урок ведет писатель» — так называется одна из форм работы, успешно зарекомендовавшая себя в практике бюро. Литераторы проводят уроки литературы, иллюстрируя теоретические положения примерами из современного литературного процесса. Особенно живо и интересно проводят такие уроки прозаики Зинаида Чигарева, Владимир Куропатов, Виль Рудин. Это — достойный вклад писателей в педагогическую реформу, преследующую цель сблизить школу и жизнь.

В ходе творческих встреч писатели рассказывают об исторических задачах, поставленных XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК КПСС, о ходе их выполнения, о высоких требованиях, предъявляемых к ху-

дожественному творчеству, о проблемах, которые решает советская литература. Писатели знакомят слушателей со своими произведениями и творческими планами, отвечают на вопросы трудящихся.

По путевкам бюро выступают не только профессиональные писатели, но и молодые литераторы, еще не ставшие членами Союза писателей СССР, рекомендованные бюро писательской организации для участия в публичных выступлениях. Это молодые поэты Виталий Креков, Валерий Ковшов, Александр Катков, Иосиф Куралов и другие. При их активном участии успешно прошли дни поэзии в Прокопьевске, Гурьевске, Ленинске-Кузнецком. Сейчас молодые литераторы готовятся к проведению «Весны в Притомье» — традиционному празднику, в котором примут участие поэты из других областей.

Всего четыре месяца существует бюро пропаганды художественной литературы. За это время проведены сотни встреч с трудящимися области, учащейся молодежью. Многочисленные отклики, отзывы, поступающие в бюро, свидетельствуют, что устные выступления писателей начинают играть важную роль в деле воспитания коммунистической сознательности в духовной жизни кузбассовцев.

Наш корр.

НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Столичное издательство «Радуга» выпустило в свет сборник рассказов современных советских писателей на японском языке. В сборник, который называется «Век живи — век люби», вошли произведения Георгия Маркова, Анатолия Иванова, Валентина Распутина — и что особенно приятно для нас, куз-

бассовцев, — кемеровского прозаика Владимира Куропатова.

Рассказ «Таинственное существо», повествующий о жизни ребят из шахтерского городка Осинники, станет достоянием тысяч японских читателей.

Наш корр.

Борис Кобзарь

ХВАЛА ТЕЛЕВИЗОРУ

Кто сказал, что мы живем?

Мы доживаем. Время делится на до пенсии и после. Ужин может быть до и после «Спокойной ночи, малыши». А может и во время. Никто не осудит. Ты же один. Жена и дети не в счет, как мебель. А веселые, дерзкие герои не спросят тебя: «Леопольд, как живешь?».

Жизнь запрограммирована. Встал — лег. Встал — лег. Девочка моя, собирайся в садик. Что? У тебя уже паспорт? Время летит, как цифры на компьютере. Утром встаешь, завтрак — в животе. Про восход солнца ты уже забыл — космонавты тебе расскажут. Берём на работу. Все по плану. С работы гордым идешь.

Но что с тобой? Ты ускорил шаг. Ты вспомнил любимую программу. И тебе уже некогда говорить с другом детства, которого видел десять лет назад. Что-то буркнул. Сунул номер телефона и — бегом. Тебя ждет он — телевизор. Он манит антеннами. На крыше их больше, чем птиц, да и тех ты видишь «В мире животных».

Соседей по площадке ты не знаешь. Но знаешь всех президентов. К друзьям не ходишь, а если ходишь, то слушаешь самого активного — телевизор. Часы убиваем на анализ судьбы киногероя. Жизнь своя и друга не волнует.

Мы уже не знаем, кто изобрел паровоз. Но хорошо знаем расписание прибытий и отправлений. Настольная книга — телефонная. Душевная книга — сберегательная. Ты знаешь номера: кому достать, у кого попросить. Номера сберкасс и спортлото, номера магазинов и дубленок. Ты восхищаешься художником, который продал все, купил миллион роз. Утром проснется она, откроет окно, а вокруг и всюду — розы, розы, розы. А рядом сидит жена. Нет, не сидит, она давно на кухне — создает. Про цветы уже забыла, как они и пахнут.

Книги ты не читаешь. А если читаешь — то цены. Кругозор состоит из знаний авторов и этикеток на джинсах. Твой диск-жокей — телевизор. Окно в мир. Смотри, не вылети и не простудись. Ты забыл, как катаются на лыжах. Для тебя придумали бег трусцой и ауто-тренинг. Но ты страдаешь ожирением и увлекаешься таблетками.

Так обними телевизор — он твой друг, он — твой мир. Его можно включить и выключить. Это очень просто. Кнопочка, и ты — в мире путешествий. Он не будет спорить. Зачем стрессы? Зачем жить радостно с солнцем и восходом луны? Будем доживать.

Кстати, кто изобрел телевизор?

Привет ему.

НЕВЕСТА ПО КОМПЬЮТЕРУ

Сидоров открыл глаза и со стоном закрыл снова. Голова раскалывалась, а часы, которые он забыл поставить на бой, показывали четверть десятого.

— Все равно опоздал, — скорбно подумал Сидоров и зашлепал в ванную комнату.

— Черт подери эти таночки! Куда они задевались, — выругался он, стоя на холодном кафельном полу.

— Тыфу ты! Паста кончилась, — обиделся Сидоров, — жениться бы надо. — И что это мне не везет? — спросил он, глядя на себя в зеркало. — Вчера вроде бы хорошо посидели. Так сегодня не на что в столовку сходить... А здорово вчера я выиграл в три хода пузырь. Интересно, кто после меня еще оставался?.. Нет, все же пиво было несвежее. С чего бы у меня сегодня голова болела? Не от «пшеничной» же. Лишнего не было. Как всегда, две на троих...

Сидоров натянул рубашку и снова чертыхнулся:

— Кто это пуговицы все время отрывает? Надо бы жениться.

В учреждении, где работал Сидоров, его появлению не удивились. Только Марьянна фыркнула:

— Опять проспал. Гнать таких надо!

Он сел за стол и обиженно уставился в окно.

— Все! — решительным, хотя еще слабым после вчерашнего голосом сказал себе Сидоров. — Женюсь.

И здесь Сидоров вспомнил, как Алеха вчера рассказывал о своем однокласснике, который работает оператором ЭВМ. Говорил, что компьютер на любой вопрос ответить может, любую задачу решить.

Все оставшееся до конца работы время Сидоров составлял реестр качеств, которые он хотел бы видеть у своей жены. Внешность и рост кандидатуры (только не 1,90) значения не имели. Цвет волос тоже. Неплохо, если бы она играла в шахматы, увлекалась спортом, особенно хоккеем. Не уделяла особого внимания тряпкам и разным там побрякушкам. Чтобы немного разбиралась в технике: что это за жена, которая уют не может починить. Конечно, плохо, если она будет против традиционной рюмочки. И, конечно, жена должна почаще говорить ему, Сидорову, о своем уважении.

Записав по пунктам эти требования, он позвонил Алехе. Тот поначалу отнесся к затее Сидорова неодобрительно. Но, услышав о компьютере и вопросах, обещал помочь.

На следующий день после работы они отправились к Алехиному однокласснику. Тот с любопытством посмотрел на Сидорова и повел в комнату, где стояла машина.

— Вот все ваши вопросы на перфокарте, — показал одноклассник на карточку. — Сейчас получим ответ.

В машине что-то щелкнуло, замигало. Сидорову даже показалось, что она зашаталась. И через минуту застрекотала, выплевывая длинную ленту.

Сердце Сидорова замерло.

— А вот координаты невесты, — сказал одноклассник.

— Улица Строителей, — медленно прочел Сидоров, — дом 23, квартира 14, Карманов Алексей Семенович.

Имя, фамилия и адрес были Алехины.

Михаил Небогатов

ПАРОДИИ

ЖЕСТЬ? ЕСТЬ!

По оглохшей ржавой балке
Колотит крылом...
Что же, брат родной, порадуЙ
Свистом по жести.

Иосиф Куралов

Наугад напав на тему,
С часу до шести
НаколОтил я поэму
ГвОздем по жестИ.
Любопытных озаботил
В том краю и в том:
Что сказать он этим хОтел —
Ржавым скрежетОм?

В КАПУСТЕ

Я расту на земле, как трава,
в подорожнике я,
в молочае,
я — шумящая летом листва,
я — зима, я мороз, я молчанье.

Любовь Никонова

Кто я, что? Может, окунь, карась?
Ну, а может быть, вздох твоей грусти?
Я не просто на свет родилась —
Я нашлась в огороде, в капусте.
— Хочешь, с неба достану звезду? —
Говоришь ты, тоскуя, страдая.
Нет, сама я у всех на виду,
Потому что луна и звезда я.

Я — весна, но морозны уста,
Я и лед, я и мука, и скука.
И Любовью зовусь неспроста:
Я — любовь твоя, я же — разлука.

У БАБУСЕНЬКИ

Выращивают хлебушек отличный
В колхозишках у черта на куличках...
Не променяет родненькой Сибири...

Павел Майский

Мы постоянны все в своих привычках...
Есть в родненькой Сибири у меня
Колхозишко у черта на куличках,
Где проживает дальняя родня.
Люблю, оставив в городе контору,
Где густо инженеришки дымят,
Шажочками подняться лихо в гору
К закатишку, что облачком примят.
На грохоточек — это тракторишко —
Сбегу с горы у елок на виду
И, увидав знакоменький домишко,
Тихонько по крылеченьку взойду.
Бабусенька встречает и хлопочет.
Все мисочки, тарелочки — на стол.
Известно, угостить получше хочет.
— Родименький! Как в городе дошел!
Здесь поживешь — и округлятся щеки.
И салыца, и мясишка есть запас...
Пиши свои стишечки, стишочки
И чаще радуй книжечками нас!



Г. Писаревская. Фрагмент росписи стены в кинотеатре «Космос»
«Космическая эра».

